



**В. Г.  
КОРОЛЕНКО**



# Владимир Галактионович Короленко

## С двух сторон

«Каждый возраст обладает своим собственным ароматом, который носится кругом, насыщает и переполняет для нас весь мир. В настоящем мы его обыкновенно не замечаем, именно потому, что он составляет постоянную атмосферу нашей души. Но стоит настоящему отодвинуться в прошлое, стоит нам войти в другую полосу жизни, и в памяти отлетевший жизненный колорит выступает так ощутительно, что мы удивляемся, как это мы не замечали тогда этой особенной атмосферы, не наслаждались ею в свое время сознательно и полно. А потом и новая полоса станет прошлым, и окажется, что в ней тоже было свое очарование...»

# Содержание

Часть первая	0006
I	0006
II	0009
III	0013
IV	0016
V	0020
VI	0036
VII	0043
VIII	0053
IX	0057
X	0064
XI	0077
XII	0084
XIII	0088
Часть вторая	0100
I	0100
II	0107
III	0111
IV	0125
V	0132
VI	0151
VII	0157
VIII	0177
IX	0182
Заключение	0193



**Владимир Галактионович  
Короленко  
С двух сторон  
(*Рассказ моего знакомого*)**

# Часть первая

## I

**М**не шел двадцатый год. Я был студентом Петровской академии и чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Все из того времени вспоминается мне каким-то сверкающим и свежим. Здание академии среди парков и цветников, аудитории и музеи, старые «Ололыкинские номера» на Выселках, деревянные дачи в сосновых рощах, таинственные сходки на этих дачках или в Москве, молодой романтизм и пробуждение мысли...

Казалось, – нам предстоит что-то необыкновенное... Что именно, в точности неизвестно, но от этого все станут окончательно счастливы...

Была также и «она».

О любви не было еще речи. Было несколько сходок, на которых она тоже присутствовала, молчаливая, в дальнем уголке. Я заметил ее лицо с гладкой прической и прямым про-

бором, и мне было приятно, что ее глаза порой останавливались на мне. Однажды, когда разбиралось какое-то столкновение между товарищами по кружку и я заговорил по этому поводу, – и прочитал в ее глазах согласие и сочувствие. В следующий раз, когда я пришел на сходку где-то на Плющихе, она подошла ко мне первая и просто протянула руку.

– Здравствуйте... – И она назвала меня просто по фамилии. До этих пор я знал только ее лицо, выступавшее из-за других в дальнем углу. Теперь увидел ее фигуру. Она была высокая, с спокойными движениями. У нее была пепельно-русовая коса и темно-коричневое платье. Я был очень застенчив и робел перед женщинами. Сам я казался себе неинтересным и несуразным. Но на этот раз я почувствовал какую-то особенную простоту этого приветствия и тоже тепло и просто ответил на пожатие.

Никто нас не знакомил. Но мы уже бывали вместе после собраний в тесном дружеском кружке, и я видел, что между нами устанавливается какая-то внутренняя близость. Вскоре после этого она уехала на Волгу, где полу-

чила место кассирши на пароходе.

Кассиров на свете много, и никогда эта профессия не казалась мне особенно интересной. Просто выдает билеты и получает деньги. Но теперь, когда я представлял себе в этой роли высокую девушку в темном платье с спокойным вдумчивым взглядом, с длинной косой и кружевным воротничком вокруг шеи, то эта прозаическая профессия представлялась мне в особом свете. Быть может, думал я, в это самое время пароход несется по Волге, и она сидит на палубе с книгой на коленях. А мимо мелькают волжские горы.

Волги я еще ни разу не видел, но был влюблен в нее с юности за бурлаков Некрасова и за Стеньку Разина. И то обстоятельство, что она была именно на Волге, казалось мне особенно красивым и значительным.

Поздней осенью она опять вернется и опять будет стоять в уголку, в накуренной комнате, и ее лицо с пепельными волосами, закрывающими часть лба и маленькие уши (я это успел заметить), будет светить мне сквозь табачный дым и шумные споры. И я представлял себе, как она опять протянет мне



руку, скажет «здравствуйте» и назовет мою фамилию. И я непременно при случае спрошу у нее, что она видела на Волге...

Но в данное время ее не было в Москве, и это не мешало, мне быть счастливым. Мы только что окончили практические работы по съемке, отдыхали до начала лекций, ходили пешком в Москву, читали и спорили.

## II

**В**споминаю тогдашнее особенное настроение... Аромат юности.

Каждый возраст обладает своим собственным ароматом, который носится кругом, насыщает и переполняет для нас весь мир. В настоящем мы его обыкновенно не замечаем, именно потому, что он составляет постоянную атмосферу нашей души. Но стоит настоящему отодвинуться в прошлое, стоит нам войти в другую полосу жизни, и в памяти отлетевший жизненный колорит выступает так ощутительно, что мы удивляемся, как это мы не замечали тогда этой особенной атмосферы, не наслаждались ею в свое время сознательно и полно. А потом и новая полоса станет

прошлым, и окажется, что в ней тоже было свое очарование.

Пока живо это «чувство прошлого» с его радостной печалью воспоминания, – это значит, что душа жива, и жизнь не потеряла своего аромата...

В то время каждое новое впечатление и каждая новая мысль приобретали свою особенную неповторявшуюся окраску.

Читал я много и усваивал восприимчиво. Может быть, несколько односторонне... Перечитывая впоследствии тех же авторов, я находил много такого, что ранее проглядел; зато многое, что тогда светилося ярко, впоследствии потускнело. В каждой книге я быстро намечал выдающиеся пункты, своего рода вехи, на которых группировались воспоминания о прочитанном. Ирландцы, – говорит Бокль,[1] – несвободны потому, что питаются картофелем. Их завоеватели питаются мясом. Мысль, что, быть может, тут зависимость и обратная, – ирландцы не имеют возможности есть мясо, потому что несвободны, – не приходила мне в голову. Выводы из афоризма Бокля были так наивно просты и так утешительны:

накормите рабов, и они освободятся...

Другой любимый мой писатель был Фохт [2]. Это был настоящий поэт материализма. В его «Зоологических очерках» природа жила такой яркой красивой жизнью, и, кроме того... он сменял микроскоп на ружье республиканского милиционера. Перевод этой книги, вышедшей в 60-х годах, был снабжен портретом автора, и под ним стоял девиз: «Gegen Dummheit Kämpfen Götter selbst vergebens»[3]. Я срисовал портрет и повесил у себя над кроватью. К девизу я прибавил цитату: «Наше время ниспровергло противоположность между вещественным и нравственным и не признает более такого деления»... Точность и ясность материалистической мысли производила на меня впечатление прямо эстетическое. «Боги напрасно боролись с глупостью»... Но мне казалось, что это только потому, что у богов не было микроскопа. Фохты, вооруженные микроскопами, борются с глупостью не напрасно. Я тогда не знал, что и Фохта тогда уже обвиняли в метафизике. «Мысль есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени». Ну, конечно... Тогда это мне казалось

самоочевидным и окончательным. И главное, это меня необыкновенно радовало, хотя в то же время я страстно преклонялся перед мыслью.

Особенно усердным студентом я не был, но с увлечением слушал некоторых профессоров, особенно по физиологии растений и по зоологии. Меня не столько интересовали при этом «вредители растений» и средства борьбы с ними, сколько ощущения растений и загадочный мир низших животных. Постепенно упрощаясь, животный мир опускался в область мира растительного, растительный роднился с кристаллами. Тогда еще не был разрушен миф о первичной органической материи Геккеля[4]. Где-то, на недоступных глубинах океана, залегает эта первобытная слизь, в которой среди глубокой тьмы и дремотного покоя творится тайна самозарождения жизни. Меня радовало, что элементарные материальные процессы, суммируясь, проникают в область моего чувства и мысли. В этом я видел освобождение от всяких мифологий...

Впоследствии мне было гораздо приятнее

мое сознание переносить на всю первобытную природу...

### III

Каникулы приходили к концу, скоро должны были начаться лекции. В воздухе чувствовались первые веяния осени. Вода в прудах потемнела, отяжелела. На клумбах садовники заменяли ранние цветы более поздними. С деревьев кое-где срывались рано пожелтевшие листья и падали на землю, мелькая, как червонное золото, на фоне темных аллей. Поля тоже пожелтели кругом, и поезда железной дороги, пролегающей в полутора верстах от академии, виднелись гораздо яснее и, казалось, проходили гораздо ближе, нежели летом.

Я занимал крайний номер в верхнем этаже казенного здания. Из моего окна была видна часть дороги. Поезд выходил из-за холмов, потом опять скрывался, и только белый султан пара несся над горизонтом. Затем он опять появлялся весь. Маленькие вагоны, точно игрушки, тянулись по профилю дороги. Мне видны были колеса, катившиеся по рель-

сам, и окна пассажирских вагонов сверкали на солнце. Потом белая лента пара вдруг разрывалась. Поезд нырнул под мостик, втягивался в углубление и исчезал. Шум его стихал постепенно в направлении к Москве.

Мы с моим сожителем Титом отходили от окна и в ожидании, пока вскипит казенный куб для чая, ложились на постели и говорили в сумерках бог знает о чем, между тем как в наше окно лилась с полей вечерняя прохлада.

Или порой, перед вечером, мы отправлялись к платформе железной дороги, находившейся в конце прямой лиственничной аллеи, встречать следующий поезд. Курьерские поезда проносились мимо без остановки, пассажирские иной раз останавливались, и из них выходили служащие, жены профессоров, дачники или дачницы. И мне всегда казалось, что вдруг выйдет кто-нибудь интересный и необыкновенный. Может быть... она? Этого никак не могло случиться, но это не мешало неопределенному и радостному ожиданию... Редкие пассажиры уходили по аллее, а мы еще оставались. В будке сторожа вспыхивал огонек. Она была тесна, грязна и неудобна, и

в ней ютилась целая семья. Я с негодованием думал о тех, кто «заставляет людей жить в таких ужасных условиях». Но в этих мыслях не было как-то ничего угнетающего... «Мы это скоро изменим»...

И меня более радовала эта перспектива светлого будущего, ожидающего, между прочим, и этого сторожа с его семьей, чем печалило темное настоящее.

Тит был практик и очень добрый малый. Он редко забывал, отправляясь к платформе, захватить кусок булки, несколько кусков сахара или яблоко для детей сторожа... Их было много, и предстояло еще прибавление...

Затем в темноте мы тихо возвращались в свой номер. И опять я говорил, а Тит слушал.

Говорилось так хорошо... И вообще жилось недурно.

## IV

**И**з тогдашних моих товарищей по академии некоторые приобрели впоследствии почетную известность. И не в одной только специальности: их имена стали известны в разных областях.

Однако... если бы тогда кто-нибудь раскрыл передо мною, выражаясь метафорически, «завесу будущего» и показал бы мне их теми, каковы они теперь, я был бы разочарован. Лично я не был ни заносчив, ни тщеславен. Я не мечтал ни о богатстве, ни о карьере, ни о славе. Вообще, право, я был юноша довольно скромный. Если у меня были преувеличенные ожидания и гордость, то относились они к «моему поколению». Мне казалось, что во всех нас есть какие-то зачатки, какие-то завязи новой и полной жизни.

Был тогда в академии некто Урманов. Он шел выше меня тремя курсами, и особенной близости между нами не было. Несмотря на это, а может быть именно потому, что не было близости, он служил для меня предметом особенного, отчасти романтического интере-



са. В то время среди студентов была целая группа архангельцев. Народ рослый, по большей части голубоглазый, флегматичный. Урманов был тоже «уроженец архангельских тундр». То есть, собственно, родился он в городе Архангельске, в семье незначительного «соляного чиновника», но не походил на других своих земляков: черноглазый, необыкновенно подвижной, он был экспансивен, как южанин. На сходках вспыхивал, как порох, и быстро предлагал самые крайние меры. И так же легко остывал. В лице его было что-то инородческое, но не северное. Считался он очень способным, работал при лаборатории одного из профессоров. Мечты его раздваивались. Одновременно он увлекался революцией и готовился к кафедре. Революционные увлечения проявлялись вспышками, научные были более прочны. Другие его земляки, поступившие позже его, привезли с собой из Архангельска необыкновенное уважение к Урманову: на него в гимназии смотрели, как на будущую звезду.

В Архангельском кружке был совсем юный поэт, приблизительно моего возраста или

немного моложе. Он сочинил длинную поэму, героем которой был Урманов. Поэма несколько хромала относительно формы, но изобиловала картинами северной природы, «бытовым колоритом» и чисто романтическим полетом. Тут было «низко нависшее небо», «саван снегов», «убогие чумы». Дымок печально вьется над задумавшейся тундрой, олени пощипывают мох, откуда-то несется горловая заунывная песня самоеда. Тундра спит, как заколдованное царство, и сквозь дремоту ждет чего-то... Урманов учится в академии. Вооруженный знаниями, «с пламенной любовью к свободе» он возвратится на свою печальную родину, отвернувшись от соблазнов богатства, славы, женской любви. И тогда в тундре загорится весна, песня зазвенит ярче, самоед проснется к борьбе «за попранные в его лице права человека». Урманов объезжает дальние стойбища, собирает вокруг себя молодежь, говорит о «славном прошлом отцов и дедов» (поэт предполагал, что было такое прошлое и у самоедов), говорит им о том, что в великой России народ уже просыпается для борьбы с рабством и угнетением... Закон-

чивалась поэма следующей эффектной картиной: северное сияние слабо играет над бесконечной равниной. Снежный саван вспыхивает кое-где огненными искрами. Скрипит полоз нарты, олени бегут, пригнув ветвистые рога к спинам. То гонец самоед с полным сознанием своей миссии везет пламенные воззвания Урманова «к великому самоедскому народу». Затем следовал апофеоз братства племен и свободы.

Поэма требовала еще значительной отделки, но уже и в этом виде производила впечатление и доставила известность в студенческих кружках поэту, а еще более его герою. Я чувствовал большие недочеты и большую наивность этой «Урманиады», но все же Урманов представлялся мне наиболее колоритной фигурой из всей студенческой массы, которая и вся-то казалась мне замечательной.

Каждый год, с ранней весны на одной из дач поселялся отставной генерал, который в известный час в сопровождении лакея появлялся в академическом парке. Он старческой походкой прохаживался по главной аллее, часто присаживаясь на скамьях и греясь на солнце. Губы у него были широкие, несколько отвисшие и глаза чуть-чуть навывкате: в общем мы усматривали некоторое сходство с большой лягушкой. Мне почему-то казалось, что между этой фигурой и нами должен существовать инстинктивный антагонизм. В его взглядах, которыми он провожал мелькающие мимо фигуры студентов, мне чудилась раздражительная брюзгливость и досада. Как будто мы составляем лишь очень досадный придаток к хорошему дачному месту, ко всем этим аллеям и цветочным клумбам. Однажды, когда я с двумя товарищами проходил мимо него, не сразу заметив его присутствие, мне показалось, что он вдруг сделал какое-то резкое движение. Толстые губы зашевелились, и глаза выкати-

лись, как будто старик хотел остановить нас... Зачем?.. Может быть, чтобы сделать строгий выговор за то, что мы молоды, что мы студенты, что мы наверное имеем «образ мыслей» и самым фактом своего существования выказываем неуважение к старым генералам. При этом высокий и тоже старый лакей с военной выправкой, стоявший сзади навтыжке, тоже, казалось, готов был двинуться за нами, исполняя какую-то генеральскую команду.

Но мы беззаботно прошли мимо. Эта полуразрушенная превосходительная фигура, в течение двух – трех последних лет аккуратно появлявшаяся в парке, пользовалась среди студентов значительною, хотя и не особенно лестною популярностью. Кто-то назвал его генералом Ферापонтьевым, и эта вымышленная фамилия так и осталась за ним. Хотя сама по себе она, по-видимому, не заключала ничего обидного, тем не менее употреблялась всегда с некоторым оттенком иронии. Это было выражение безмолвного и беспричинного антагонизма, установившегося между дряхлым генералом и легкомысленною средой академической молодежи.

И вот, однажды разнеслась сенсационная новость: генерал гуляет в сопровождении молодой и очень хорошенькой женщины...

Как-то раз, когда мы с Титом шли по главной аллее, генерал действительно вышел из боковой аллеи и пошел навстречу, опираясь на руку спутницы. Лакея не было. Пятна солнца и теней мелькали на серой тужурке генерала и на небольшой женской фигуре. Когда мы поровнялись с ними, генерал, как мне показалось, опять выпучил глаза, сказал что-то своей спутнице и зашевелил губами. Молодая женщина вскинула пенсне и посмотрела прямо на наши приближающиеся фигуры. Нам обоим стало неловко под этим красиво-беззастенчивым и как будто изучающим взглядом. В нем было что-то странное. Молодая женщина не просто смотрела. Казалось, она любопытно высматривала, изучала и оценивала нас с какой-то своей точки зрения. В первый еще раз я позавидовал Титу. Он всегда держал свой костюм в большом порядке, тогда как я был в этом отношении несколько беспечен. Скользя по моей фигуре взглядом, в котором мне почудилась легкая усмешка, она

несколько дольше остановила его на аккуратной фигуре Тита. Затем мы разминулись.

– Ну, брат... и дамочка!.. – сказал Тит шопотом и почему-то ускоряя шаг... – Заметил ты?.. Как она смотрит?

И, отойдя незначительное расстояние, он вдруг прыснул своим звонким веселым смехом...

– А ты, брат, признайся, своей блузы и грязных сапогов сконфузился. Видишь преимущества приличной внешности...

Я, конечно, не признался, но Тит был прав. Пренебрежительный огонек, мелькнувший, как мне показалось, в глазах молодой женщины, был мне неприятен. Сама она оставила во мне странное впечатление: резкое, не совсем приятное, но вместе заманчиво-дразнящее...

Я не любил дам, одетых явно «по последней моде», а мода того времени внушала мне негодование. Мне кажется, мода явление не совсем случайное и каждая имеет свое выражение. Соответственно с этим меняется даже и выражение лиц. Лица открытые с высокими лбами и прямым взглядом в то время все чаще стали сменяться низкими лбами, с зави-

тыми чолками, слегка подведенными глазами. Вместо прямого и открытого женского взгляда становились «модными» взгляды наивные, беспомощные, как бы молящие о пощаде. При этом низко вырезанные лифы и узкие платья, совершенно мешавшие движениям... В то же самое время модные мужчины придавали себе вид победительный и наглый. Низкие лбы, выпученные глаза; чолки на лбу; ворота рубаш вырезаны широко, декольтируя шею, а отвороченные углы воротников торчат из-за ушей. Пиджаки нараспашку, руки за жилетом, походка развязная и с развалкой. Общий вид наглеца, отбросившего предрассудки и не дающего пощады.

Девушка или дама, сопровождавшая «генерала Феррапонтьева», была тоже одета по этой ненавистной мне моде, с некоторой даже утрировкой. Светло-серое платье было очень стянуто, низкие вырезы на груди и спине закрыты легким кружевом, длинный шлейф приходилось придерживать одной рукой. Она была маленького роста и казалась очень молодой, но серые глаза, представлявшие порой то темно-голубыми, то даже черными,



глядели из-под очень широких полей шляпы так твердо и спокойно, что фигура не казалась незначительной. В этом взгляде было что-то холодное, сдержанное и как будто повелительное...

Через несколько дней я опять встретил ее. Мне приходилось принимать от Урманова студенческую кассу, и мы шли к нему на Выселки по главной аллее парка, когда генерал с молодой дамой опять вышли из боковой аллеи. Поровнявшись с ними, Урманов не совсем решительно приподнял шляпу. Генерал повернулся, как будто с недоумением. Чтобы пропустить их, мы с Урмановым разошлись так, что они прошли в середине... Дама не заметила поклона Урманова. Оба они повернулись ко мне, и опять от ее холодного пытливого взгляда мне стало неловко.

– Вы знакомы с этой дамой? – спросил я у Урманова, когда мы прошли дальше.

– Д-да... – сказал он нерешительно, и на его впечатлительном лице появился чуть заметный нервный румянец. – Я встретил ее в Москве, в доме профессора Н. Там было много народу...

И пройдя еще несколько шагов, он спросил:

– Нравится она вам?

Он с любопытством ждал моего ответа.

– Я не люблю таких лиц, – сказал я.

– Каких?

– Холодных, что ли...

– Нет... у нее лицо не холодное, – произнес Урманов задумчиво.

– И притом, – продолжал я, – я не люблю еще модниц.

– Она и не модница, – продолжал Урманов с тем же выражением. – У профессора N она была одета совсем просто...

– Но теперь не просто... Даже шляпа в каких-то висюльках... А вам она нравится? – спросил я в свою очередь.

– Нравится, – просто сказал Урманов. – Она оригинальная, не похожая на других... Я не люблю стриженных.

Девушка, уехавшая на Волгу, не была стриженная, но это замечание Урманова прозвучало для меня неприятно.

– Стриженные лучше щеголих, – возразил я.

Урманов все с тем же несколько задумчи-

вым видом, глядя куда-то в сторону, ответил:

– Она не щеголиха и не нигилистка. Это модное платье... Это она для отца. Она – дочь старого генерала...

Это показалось мне почему-то неожиданным, но я тотчас же решил, что это так и должно быть...

– Генеральская дочка, – сказал я с иронией... – Оно и видно.

Урманов живо поднял голову.

– Нет, послушайте, Потапов. Вы ошибаетесь, – сказал он. – Она не просто генеральская дочка... Ее история – особенная... Только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Я слышал все это от жены профессора N и не хотел бы, чтобы это распространилось среди студентов. Она действительно дочь Ферапонтьева... То есть, собственно, он не Ферапонтьев, а Салманов... Но она – американка...

– Как же это? – удивился я.

– Да... Это, конечно, оригинально. Она совершенно разошлась с отцом в убеждениях, сошлась с одним господином, тоже отказавшимся от аристократических предрассудков, и оба они уехали в Америку. Он основал ка-

кую-то контору в Бостоне... Что-то такое... какие-то изобретения... Но дело, собственно, не в конторе самой по себе... У них какие-то общие цели, какая-то идея, для которой прежде всего нужны средства... Вообще, подробностей я не знаю... Сначала дела шли хорошо, потом вышли неудачи. Дело полетит к чорту, если не удастся достать денег...

– У отца?

– Да. Только уж это совсем между нами... Собственно, деньги у нее есть... Свои собственные, по завещанию матери. Но завещание как-то там обусловлено по настоянию генерала: деньги дочь получит по его личному распоряжению, или в случае его смерти... или наконец... свинья этакая! – по вступлении в законный брак в России.

– Что ж? Почему ей не выйти здесь за этого американца?

– Нельзя, – ответил Урманов, задумчиво ломая мимоходом зеленую ветку. – Он уже женат. Давайте присядем. С делом еще поспеем.

Мы были в конце аллеи и уселись в тени на скамейке. В другом конце дорожки гене-

рал с дочерью повернули обратно, и опять пятна света мелькали на серой тужурке генерала и на светлой дамской фигуре... Они тихо приближались к нашему концу.

Я несколько пожалел, что мы остановились на их дороге... Я знал, что мне опять придется выдержать испытующий взгляд молодой женщины и укорять себя в малодушном стыде из-за своих запыленных сапог и блузы. Мне показалось, что Урманов, наоборот, остановился нарочно, в надежде на эту новую встречу с «оригинальной американкой». Он переменял тему разговора: заговорил вдруг довольно оживленно о кассе, о том, что он уже не считает себя студентом, что поэтому счел нужным отказаться от ведения кассы, но что товарищеские дела его все-таки интересуют. Я отвечал, но чувствовал при этом, что оба мы говорим не так, как говорили бы, если бы из зеленой мглы аллей не подвигалась эта пара: генерал и его дочь.

Расстояние, между тем, уменьшалось... И, по мере того, как оно уменьшалось, мною овладевало странное ощущение. Я, не глядя на идущих, чувствовал их приближение, чув-

ствовал пятна света и зеленых теней, пестревшие на светло-сером платье... Скоро ли они пройдут мимо? Кажется, я уже слышу шуршание шагов... Она опять будет рассматривать меня через свою лорнетку? Какие у нее глаза?.. Холодные, светло-серые? Или совсем глубокие темные?.. Урманов тоже беспокоится... Что он говорит? Во всяком случае, он не думает о том, что говорит. Он думает о том, что она не заметила его поклона и... и следует ли ему опять поклониться или не следует...

Шаги зашуршали совсем близко. И вдруг, не подымая глаз, я увидел, что белое дамское платье и серая тужурка генерала поворачиваются к нам. Я подумал, что они хотят сесть, и смущенно подвинулся. Урманов приподнялся и сделал два – три шага навстречу. Генерал остановился, дама, оставив его руку, шла дальше, прямо к нашей скамье. Кивнув Урманову головой, она прошла мимо него. Значит... ко мне?

Я поднял глаза. Небольшая фигурка вынырнула вся в освещенном месте и опять ступила в тень... Теперь она была совсем близко, и я видел одно ее лицо, вернее, одни ее глаза.

Под широкими полями шляпы колебались на шелковинках небольшие белые шарики, и из-за них глядели два совершенно темных женских глаза, живые и глубокие, устремленные прямо на меня. Я уже сказал, что был очень застенчив, и невольно потупился... Шелковое платье... лорнетка на шнурке... маленькая светлая туфля с высоким каблуком – все это остановилось совсем близко...

– Извините... господин студент, – услышал я ее голос и поднял глаза.

Моя застенчивость, очевидно, поставила ее в некоторое затруднение. На одно мгновение она казалась тоже смущенной, и это удивительно изменило ее лицо. Оно было мягче, женственнее и лучше... Но затем на нем опять проступила самоуверенность. Глаза по-светлели; на губах пробежала усмешка.

– Извините, что мне приходится вывести вас из вашей задумчивости... – сказала она с веселой иронической ноткой в голосе. – Мой отец очень интересуется знать... Ваша фамилия не Федотов?

И она посмотрела мне прямо в лицо, ожидая ответа, который, очевидно, должен был

интересовать только генерала, а не ее. Глаза ее были теперь совершенно серые, холодные, чуть-чуть насмешливые. И мне показалось, что в них я читаю фразу: «какой ты еще зеленый».

– Нет, – ответил я на вопрос. – Моя фамилия Потапов. Но у меня есть дядя, брат моей матери... действительно... Федотов.

– Слышишь, папа? – обернулась она к отцу и, подойдя близко, крикнула ему в ухо. – У господина Потапова есть дядя Федотов.

Генерал сделал несколько шагов, и на лице его проступила та самая гримаса, которая показалась мне такой презрительной и неприятной. Но теперь она мне такой уже не казалась...

– Степан Ильич?.. Гусар? – спросил он быстро.

– Да, Степан Ильич Федотов и, кажется, гусар.

– Друг мой... Товарищ детства... Давно смотрю на вас... Весь в дядю... Позвольте пожать руку...

Я смущенно протянул руку, и генерал слабо пожал ее мягкой дряблой рукой...



– Это вот моя дочь... Валя, – это племянник моего лучшего друга...

Дама тоже протянула руку, и ее взгляд повернулся к Урманову, который стоял рядом неммым свидетелем этой сцены... Он слегка наклонился, и его вежливая сдержанность показалась мне очень изящной и красивой.

– Я имел удовольствие встречать вас у... – начал он.

В глазах молодой женщины мелькнул легкий испуг, потом они стали холодны и строги... Она сказала негромко, быстро и с таким выражением, как будто просто знакомясь с случайно встреченным человеком...

– При отце не надо упоминать фамилии профессора N и особенно его жены; на этот раз папа не расслышал. Не удивляйтесь, господа... У меня есть свои, очень уважительные причины...

– Я их знаю, – тихо сказал Урманов.

Лицо ее дрогнуло и побледнело. Она кинула быстрый взгляд снизу вверх, немного испуганный, спрашивающий, просящий. Он мелькнул, как темная зарница, и лицо ее при этом опять совершенно изменилось. В нем не

было ни холодности, ни самоуверенности, и глаза были не светло-серые, а глубокие и темные.

Затем она быстро повернулась к отцу.

– Папа! Я тоже встретила неожиданно брата моей близкой подруги... Позволь представить тебе... Это м-сье...

Она быстро, вопросительно и нетерпеливо взглянула на Урманова и повторила за ним:

– М-сье Урманов... Урманов, папа... Я от твоего имени приглашаю г-на Потапова и г-на Урманова к нам.

– Да, да, да... – сказал генерал быстро. – Конечно, молодой человек, навестите старика... Как же, как же... Федотов... Однокашники...

– Папа! И г-на Урманова ты ведь приглашаешь тоже?

– Да-да... И вы тоже... господин Урманов?... Урманова у нас не было... Был Гурьянов... Но, конечно... да, да... Приходите и вы вместе с Федотовым...

– Потаповым, папа...

– Что? А? Он Потапов?... Да, да! Федотов – это его дядя. И он весь в дядю... А Потапов?... Пойдите. Да ведь я знаю и Потапова. У него

была дочка красавица... Что?.. Как?.. Это твоя мать?.. Ах, милый мой мальчик... Ну, постой. Я тебя поцелую... Дай посмотреть... Молодец! Хоть в гвардию... Жаль, что не пошел по военной... Ну, ничего!

Он снисходительно потрепал меня по плечу и, видимо, был не прочь предаться дальнейшим воспоминаниям... Но дочь твердо прекратила его изливания. Она взяла отца под руку и сказала громко:

– Итак, господа, отец будет ждать вас за просто, в восемь часов вечера, в четверг... Дача такая-то... Это на шоссе. Слышишь, папа, эти господа будут у нас вечером в четверг.

И, кивнув нам головой, она повела старика вдоль аллеи по направлению к академии.

## VI

**М**ы с Урмановым свернули по дорожке над прудом, направляясь по плотине. Урманов некоторое время шел молча, улыбаясь про себя. Он то брал меня под руку, то кидал ее. Вдруг, остановившись на дорожке, он спросил:

– Ну, что скажете теперь, Потапов? Какова американка? И теперь она вам не нравится?

Мои впечатления были довольно сильны, но не вполне определены, и я ответил искренно:

– Не знаю... Я как-то не понимаю ее.

Он громко засмеялся.

– Молоды вы еще, Потапов, оттого и не понимаете. Уди-ви-тельная, прямо удивительная женщина. Как она ведет свою линию! Замечательно! Умна, как бесенок, тверда, как Наполеон... Хороша, как... Заметили вы ее взгляд?

– Холодный и... властный...

– Нет... Впрочем, да! Один холодный и властный. Это правда. А другой? Глубокий, женственный, просящий. Чорт возьми! Пони-

маете ли вы, Потапов, что за такой взгляд можно отдать жизнь... Или вы и этого еще не понимаете?.. Ха-ха-ха...

Я был очень молод и во многих отношениях чувствовал себя еще почти мальчиком. Мне было лестно, что у меня с Урмановым идет такой разговор, но вместе с тем у меня были «твердые взгляды»... И я ответил:

– Есть много задач, которым можно посвятить жизнь гораздо более производительно...

– Да, да, конечно, конечно... – ответил Урманов рассеянно и затем прибавил:

– И что это, чорт возьми, за американец такой, хотел бы я знать.

Через полчаса, – покончив несложное дело с студенческой кассой, я опять возвращался парком. Я был необыкновенно доволен своим настоящим вообще и нынешним днем в частности. Все было интересно и прекрасно. Так еще недавно я был школьник в захолустном городе. Иногда мне казалось, что я совсем взрослый, что я стал взрослым еще в гимназии, когда стал читать умные книги и «вырабатывать убеждения». В другие минуты, наоборот, я все еще чувствовал себя мальчиком.

Это были как бы рецидивы детства, и они меня очень огорчали. Сегодня я был решительно взрослый, серьезный молодой человек. Со мной познакомилась «американка». Я знаю ее интересную тайну, которая касается «фиктивного брака». Урманов говорил со мной почти как с сверстником... Открыл передо мной уголок своей души... Правда, воспоминание о той минуте, когда ко мне подошла «американка», не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Я вел себя, как самый зеленый гимназист... Мне надо было подняться на встречу неторопливо и свободно, с той изящной сдержанностью, как Урманов... На вопрос ответить так-то... Генералу теперь я бы сказал...

Одним словом, я прошел всю аллею и вел в воображении интереснейший разговор, как вдруг уже у самой академии услышал нервный стук шагов по камню и над балюстрадой, отделявшей академическую площадку от парка, увидел голову «американки». После прогулок с отцом, которые имели характер каких-то парадных выходов, она по временам выходила одна, чтобы подышать на свободе.

Она вышла из-за балюстрады и стала спускаться по широкой каменной лестнице. Молодая женщина была одета просто, в темное платье, и ее каблуки твердо и быстро стучали по камню...

Все мои умные разговоры сразу вспорхнули, как стая испуганных воробьев, и я опять почувствовал себя совершенно беспомощным, если бы она захотела подойти ко мне. Поэтому я свернул в сторону и сел на скамейку под нависшими ветвями. Она меня не заметила и, обойдя клумбу другой стороной, тоже села на скамью. Вынув из красивой сумочки письмо в очень большом конверте, она нетерпеливо разорвала его и стала читать при наступающем легком сумраке.

Дочитав, она нервно смяла конверт и спрятала в сумочку. Некоторое время она смотрела прямо перед собой, и брови ее были сжаты. Лицо казалось мне сухим, энергичным и опечаленным. Вдруг, резко поднявшись, она пошла по главной аллее... Через минуту, поднявшись в свою очередь, я увидел ее уже далеко... Мне инстинктивно захотелось пойти за ней... Это было невольное участие и любо-

пытство. Но я, конечно, не пошел... Долго вечером в моем воображении стояла одинокая фигура опечаленной «американки» в темнеющих аллеях. «Должно быть, дурные вести из Америки», – подумал я...

Через два дня, заглянув в вестибюль академии, где обыкновенно выставлялись письма, получаемые на имя студентов, я увидел небольшой конверт с моим адресом. В нем было написанное твердым круглым почерком приглашение:

«Генерал Григорий Николаевич Салманов, свидетельствуя свое почтение Гавриилу Петровичу Потапову, напоминает об его обещании посетить его в четверг такого-то числа, дача такая-то. Валентина С». И внизу более торопливым почерком было прибавлено: «Ждем запросто к чаю. Валентина Салманова».

Я взглянул на витрину. Точь в точь такой же конверт был адресован Урманову.

С помощью Тита, который отнесся с несколько ироническим интересом к моему новому знакомству, мне удалось придать себе довольно приличный вид, и ровно в восемь



часов я встретился с Урмановым у генеральской калитки. Тит, последовавший за мной на некотором расстоянии, прошел мимо и скроил уморительную гримасу, отчего мне стало неловко и смешно. Я готов был ретироваться, но было поздно: камердинер с военной выправкой уже почтительно открыл дверь, и мы вошли...

Когда я вернулся в двенадцатом часу в наш общий номер, Тит опять прыснул и стал расспрашивать: «Ну, что? Как сошел парадный визит? Как генерал? Чем угощали? О чем говорили?.. Отчего у тебя кислый вид?..» Я должен был признаться, что вечер прошел для меня довольно скучно. Старый генерал был приветлив, даже слишком. Он завладел мною целиком, много расспрашивал о дяде и отце, рассказывал военные анекдоты и в заключение усадил играть в шахматы.

– Пойдешь еще? – спросил Тит, смеясь.

– Старик взял с меня слово, – ответил я с кислым видом, снимая с себя парадный черный сюртук Тита.

Тит посмотрел на меня и, видимо, хотел что-то сказать. Я был очень дружен с Титом,

и до сих пор у меня не было с ним никаких тайн. Но теперь мне пришлось бы умолчать о том, что Урманов весь вечер провел с «американкой», что, кроме нас, был какой-то еще молодой человек аристократической наружности, друг детства Валентины Григорьевны, и что, пока я играл с генералом в шахматы, они втроем вели в другой комнате какой-то очень оживленный конспиративный разговор. Генерал был глуховат... Мне казалось, что я в этот вечер играл роль ширмы, не очень лестную для моего самолюбия.

Вообще разговаривать с Титом мне этот раз не хотелось...

## VII

Через несколько дней, после нескольких еще более или менее случайных встреч в парке, вышло как-то так, что я стал на генеральской даче почти своим человеком. Старик приглашал так радушно и настойчиво, что было неловко отказываться. При этом Валентина Григорьевна смотрела на меня своими «темными» просящими глазами, и я готов был согласиться с Урмановым, что против этого ее взгляда устоять довольно трудно. Впрочем, я, в сущности, ничего не имел против того, чтобы слегка участвовать, хотя бы и косвенно, в «американских делах» и устройстве «фиктивного брака»... Со мной приходил и Урманов.

Свободного времени у меня было много. Лекции еще не начинались. Физическая усталость от летних практических работ прошла, и я не знал порой, куда мне деваться от этой прекрасной осени, от своего досуга и от того смутного, приятного и вместе томительного ощущения, которое искало формы, тревожило и гнало куда-то, к неведомым опытам и

приключениям.

В таком настроении целыми часами я бродил по закоулкам парка, вглядываясь в затянутые легкой дымкой чащи, просиживал с книгой у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела[5], или шел к железной дороге встречать перед вечером пассажирский поезд...

К платформе вела аллея, прямая, как стрела, обсаженная в два ряда лиственницами, окаймлявшими боковые дорожки. Издали вся дорога казалась сплошным зеленым валом. Стоило пройти по ней несколько саженей, и тотчас же зелень скрывала академию, казенные здания, ферму. Спереди и сзади виднелся только зеленый коридор, усыпанный щебнем и начинавшею опадать лиственничной хвоей. Лучи солнца играли переливами на щебне, на зелени, на стволах. Мягко и сочно шелестели мохнатые ветки, сильно уже тронутые, точно золотом, краснотой осени. Здесь я чувствовал себя совершенно уединенным и охотно давал волю смутным ощущениям, которые распускались в душе без помехи. Все, о чем так хорошо думалось и мечталось

В другие минуты, тут, казалось, сливается в один стройный хор ощущений... молодость, ожидание, сила!.. А лучи сквозят и шевелятся и вблизи, и вдали, по аллее, так бесшумно, точно это тоже мечта. И чудится, будто что-то или кто-то мелькает в далекой перспективе, среди этой подвижной светотени...

Подойдя однажды к платформе, я увидел на ней Урманова, Он стоял на краю и смотрел по направлению к Москве. Полотно дороги лежало между откосами насыпи, пустынное, с двумя парами рельсов и линией телеграфных столбов. Взгляд убежал далеко вперед, за этими суживающимися полосками, которые терялись вдали, и над ними вился тот дымок или туман, по которому узнается присутствие невидного большого и шумного города.

– Что, виден поезд? – спросил меня Урманов. – У вас глаза хорошие.

– Нет, не видать.

– А что это там... как будто?..

Эта узкая даль с дымкой на горизонте обманчива: если в нее вглядываться с ожиданием, она начинает шевелиться, и из нее развертываются какие-то очертания, пятна,

предметы. Но я никого не ждал и потому ответил равнодушно:

– Это дым и туманы Москвы. А вы, видно, ждете кого-нибудь...

– Нет, я так... То есть, собственно говоря... Да, жду.

Он неловко замялся и заговорил о другом.

Разговор у нас не клеился. Урманов нетерпеливо шагал по платформе и то и дело взглядывал на дорогу. Наконец, поезд появился темной точкой в колеблющейся дымке; точка эта исчезла, опять возникла и стала расти. Когда поезд был близко, сбоку появилась рука кондуктора с флагом, которым он махал машинисту. Значит, предстояла остановка у платформы... Надвинулся локомотив, стуча и громыхая, прошел тендер, багажный вагон, еще два – три вагона. Потом вся эта громада, завладевшая тихою за минуту дорогою, остановилась, качнулась назад, заскрежетала, и из нее легко выпрыгнула Валентина Григорьевна Салманова. В течение нескольких дней ее не было видно; генерал гулял по парку в сопровождении лакея с военной выправкой.

Она остановилась и посмотрела на нас обоих.

Потом быстро подошла ко мне, протягивая руку... Глаза ее были совсем темные.

– Так значит, – начала она... – Господин Урманов уже сказал вам?..

Но в это время Урманов торопливо подошел к нам... Мне показалось, что он несколько смущен.

– Нет, я еще ничего не говорил Потапову... В этом не было надобности, так как... Есть некоторые неудобства, которые...

Она посмотрела на него задумчиво и сказала серьезно и несколько холодно:

– Но вы знаете... есть неудобства и с другой стороны... Вы это обдумали?

– Да, – ответил Урманов и затем прибавил как-то значительно: – Да, Валентина Григорьевна, я все решительно обдумал.

«Все решительно» он сказал с натиском.

Мне показалось, что в голосе его слышится странное волнение. Молодая женщина кинула на него быстрый взгляд, брови ее сдвинулись, и несколько секунд она обдумывала что-то, чертя концом зонтика по платформе...

Потом она подняла голову, посмотрела мне прямо в лицо и сказала:

– Послушайте, Потапов... Господин Урманов должен был переговорить с вами... Он обещал мне это, но... не исполнил! обещания. Поэтому я должна теперь говорить с вами без приготовлений... Вы знаете, что такое фиктивный брак? Знаете. Хорошо. У меня мало времени... Пойдем дальше. Вам уже исполнился двадцать один год? Нет? Это досадно, ну... Это можно уладить... Жениться вы, наверное, еще не собираетесь?! Не думаете совсем? Ну, за это поручиться нельзя, но, во всякое случае, едва ли раньше, скажем... пяти лет. Так? Неправда ли? Теперь, самое существенное. Слушайте, очень важные причина заставляют меня прибегнуть к фиктивному браку... Мне нельзя ждать и двух недель, может быть, нельзя даже и этого.

По лицу ее прошла гримаса нетерпения и боли, но она тотчас же подавила ее и посмотрела на меня снизу вверх с улыбкой. Глаза ее мерцали темными огоньками...

– Что, если бы... Если бы вы согласились в эту неделю влюбиться в меня, а на следующую



щей неделе попросили у генерала моей руки?.. Пойдите... Он почти наверное согласится. Он только и говорит о том, как вы напоминаете его друга... И... и... одним словом, – вы его слабость...

Она говорила быстро, сдерживая волнение, и потом опять посмотрела на меня тем темным мерцающим взглядом, который я заметил еще в первую нашу встречу в парке.

Только там это была беспредметная боязнь, беспомощность, искание опоры, ни к кому не обращенная просьба... Теперь этим взглядом она смотрела прямо на меня...

Это было так неожиданно, что я совершенно смутился, Я должен жениться?.. Сейчас?.. Через две недели?.. Что скажут родители?.. Придется, конечно, без спросу... Потом я объясню матери... Отец, может быть, будет даже рад, но... но ведь это только фиктивно... Придется объяснить и это... Не поймет... рассердится... Ну... я не мальчик и имею право располагать собой... Осенью приедет девушка с Волги... Узнает новость... «Потапов женился»... Ей тоже можно будет объяснить... Ну, да, конечно...

Все это вихрем пронеслось в моей голове, и мне кажется, я готов был согласиться, но... пока я молчал, – вероятно, у меня; был очень смешной и жалкий вид. Ее глаза, смотревшие с жгучим ожиданием, вдруг изменили свое выражение, и Валентина Григорьевна засмеялась... Смех был веселый, громкий и беззаботный.

– Бедный Потапов... Как он испугался, – сказала она как-то особенно ласково... – Не бойтесь, не бойтесь, – мы вас не женим так вдруг... и без вашего желания... Я только хочу сказать вам...

Лицо ее опять стало серьезно и холодно...

– Что жертва, которую я хотела просить у вас... Конечно, она велика, но не так, как кажется с первого взгляда. По нашим законам, продолжительная безвестная отлучка одного из супругов снимает с другого всякие обязательства. А я месяца через два уеду в Америку, и там у меня другая фамилия. Ну, да это дело конченное...

Она повернулась к Урманову и взяла его под руку.

– Простите, – сказала она мягко, – вы совер-

шенно правы... Это нельзя... Значит?..

Она вздохнула и несколько секунд опять, сдвинув брови, чертила что-то концом зонтика. Мы все трое стояли эти несколько секунд неподвижно на пустой темнеющей платформе. Потом она подняла голову и сказала:

– Мне остается только одно... Вам, Урманов, известно все?.. Все предусмотрено?.. Вы все взвесили?.. Вы не мальчик, а мужчина... Итак?..

– Да, – сказал Урманов кратко. И они двинулись по тропинке.

Может быть, это опять предчувствие задним числом... Может быть, мне просто хотелось разыграть самому интересную роль участника в фиктивном браке, только что-то будто толкнуло меня, и я сказал:

– Валентина Григорьевна... Все это так неожиданно... застигло меня врасплох... Теперь я обдумал и согласен...

Она оглянулась на меня и ласково кивнула головой:

– Я знаю, знаю... Но... это дело конченное... Пожалуйста... приходите к нам почаще. Это мне важно.

И они быстро поднялись на холмик и вошли в лиственничную аллею. Урманов шел радостный, прямой и стройный. Она почти повисла у него на руке, маленькая, живая и гибкая, как змейка...

Я еще некоторое время оставался на платформе.

Спускались сумерки. По линии, в направлении к Москве, виднелись огоньки. Целое созвездие огоньков мерцало неопределенно и смутно. Один передвигался – это шел товарный поезд. Беременная сторожиха выползла из будки. Больной ребенок был у нее на одной руке, сигнальный фонарь в другой... Заговорили рельсы, тихо, тонко, чуть слышно, как будто что-то переливалось под землей. Потом это перешло в клочкотание, и через две минуты тяжелый поезд прогремел мимо платформы.

Баба ушла в будку. Тусклым светляком приполз сторож, возвращавшийся с линии. Он поставил фонарик на скамейку, огнем к стенке и тоже скрылся в избушке. Огонь погас. На линии все стихло. Только огоньки по направлению к Москве тихо мерцали, смещи-

ваясь и переливаясь.

На душе у меня были такие же синие сумерки, пронизанные живыми огоньками.

## VIII

Я исполнил просьбу Валентины Григорьевны и вскоре пришел к генералу. По обыкновению, мы сели за шахматы, но генерал играл довольно рассеянно. На веранду из сада поднялись Урманов и Валентина Григорьевна и прошли через столовую во внутренние комнаты. Оттуда слышались звуки рояля... Генерал собрался сделать ход, поднял одну фигуру и задержал ее в воздухе. При этом он пытливо посмотрел на меня и сказал:

– Вот что... того... Вы сын моего друга... почти родственник... Скажите... вы товарищ этого... господина Урманова?

– Он уже почти кончил курс, – ответил я, – а я только перешел на второй...

– Да, да... конечно... Ну, все же вы знаете... Что он?.. Кажется, человек того... порядочный... На хорошей дороге... что?

– Его оставят при академии...

– Это что же значит?

– Он готовится к профессуре.

Генерал одобрительно мотнул головой. Звуки рояля стихли. Валентина Григорьевна заглянула в комнату и сказала:

– Папа, чай на столе...

– Хорошо, мы сейчас кончим.

Он опустил фигуру, которую держал в руке, и сказал:

– Шах королю...

– Я возьму королеву...

Генерал вдруг пришел в раздражение.

– А, черт... Я сдаюсь... Я сегодня не могу совсем играть... Не до игры... Так вы говорите?.. того... Мне ведь не с кем посоветоваться... жена умерла... Если бы у меня был сын, тогда того... было бы просто: определил в полк, и кончено. А тут... дочь... Родных никого... Ну, что толковать! Пойдем пить чай...

Он поднялся все с тем же брюзгливым видом, и мы перешли в столовую. Валентина Григорьевна сидела за самоваром, Урманов около нее. Войдя в комнату, генерал остановился, как будто собрался сказать что-то... даже лицо его настроилось на торжественный лад, но затем он нахмурился, сел к столу и

сказал:

– Ну, я того... согласен...

Всем стало вдруг отчего-то неловко... Урманов поднялся с места и поклонился генералу.

– Поверьте, Григорий Николаевич, – сказал он, – что я высоко ценю честь, которую...

Генерал, по-видимому, готов был выслушать со вниманием то, что он хотел сказать, но Валентина Григорьевна протянула полный стакан и сказала Урманову:

– Передайте, пожалуйста, отцу...

И потом прибавила:

– Спасибо, папа... Ты знаешь, я не люблю формальностей и чувствительностей.

Генерал рассердился... Ложечка в его руке задрезжала о края стакана.

– У нас все не по-людски... Того... Сегодня я позвал Федотовых... Надо объявить... Не округкой, того... выдаю дочь... Не круг раки-това куста... Прохор... приготовить шампанского...

Генерал сердился и был печален.

– Хорошо, папа, хорошо, – сказала Валентина Григорьевна... – Если хочешь, объявим...

Вскоре приехали Федотовы из Москвы и с

ними какой-то приличный молодой человек с пробором посередине головы, троюродный племянник генерала.

Генерал торжественно с бокалом в руке объявил о помолвке. Все поздравляли... Валентина Григорьевна принимала поздравления очень спокойно.

Приличный молодой человек поцеловал у нее руку и сказал что-то тихо, с почтительным и отчасти шутливым видом. По-видимому, он знал все. Урманов покраснел и насутился...

Весть о помолвке Урманова быстро распространилась в академической среде. Однажды Тит, который быстро узнавал все новости, спросил меня:

– Слушай, Потапыч, правда, что Урманов женится фиктивным браком?

Я замялся.

– Пустяки, – ответил я с неудовольствием. – И притом эта болтовня может повредить людям.

– Рассказывай, – упрямо сказал Тит... – У нее муж в Америке...

Однако, если слухи и были, то неопреде-



ленные и смутные. Урманов держал себя настоящим женихом, и теперь генерал ходил по парку втроем. А когда он уходил домой, то «жених с невестой» выходили еще, и их фигуры до поздних сумерек мелькали по аллеям и глухим тропинкам парка.

## IX

Венчание происходило в нашей церкви. Народу было немного. Несколько академических дам, жен профессоров и служащих, несколько баб, кучка студентов в высоких сапогах и блузах и затем свидетели со стороны жениха и невесты. Шаферами со стороны Урманова были два студента старших курсов, со стороны невесты – высокий приличный кузен, во фраке. Он приехал в сопровождении двух молодых девушек, подружек невесты. Это были, видимо, люди ее прежнего круга, и приглашение их было уступкой генералу. Они держались с приличной степенью радушья, и во взглядах, какие порой молодые девушки кидали на жениха и шаферов, сквозило любопытство. Вторым шафером невесты был я, но мне не пришлось играть никакой

роли. Приличный молодой человек держал венец, а я стоял с Титом поодаль...

Венчал академический священник, профессор богословия, человек умный и красноречивый. На своих лекциях он любил упоминать Конта[6] и Дарвина, и его проповеди славились в Москве. Человек опытный и тактичный, он чувствовал, что не нужно излишней торжественности, и служил кратко. Обращаясь к жениху и невесте с несколькими словами, он все же сказал их с некоторой теплотой и в меру эффектно. В одном месте голос его даже слегка дрогнул (мы знали эту ноту по патетическим заключениям лекций). Урманов показался мне при этом взволнованным. Лицо Валентины Григорьевны было спокойно и холодно. Когда их водили вокруг аналая, один из шаферов, студент, наступил ей на шлейф. Она слегка повернулась и стала ждать. Но тот не заметил.

– Вы мне оборвете платье, – сказала она, спокойно улыбаясь.

Когда все кончилось и мы выходили из церкви, я услышал фразу, тихо произнесенную одним из студентов товарищу:

– Бедняга Урманов по уши влюблен в свою жену...

– Почему же бедняга? – спросил другой... – Дай бог всякому.

– Но... если это... фикция?..

– Ну, это пустое.

И уже на паперти студент наклонился к товарищу и закончил:

– Случилось мне невзначай натолкнуться на них в парке... Нет, батюшка, едва ли это фикция... А если и начиналось фикцией, то, кажется, у Урманова есть большие шансы.

После венчания в генеральской квартире приличный кузен сказал несколько слов, которые очень понравились генералу; Это было умно, и в словах слышался тонкий намек дружеской иронии, понятной только посвященным. Когда Валентина Григорьевна вышла, переодетая, из своей комнаты, он подошел к ней с бокалом и опять сказал ей тихонько что-то шутливо интимное. Валентина Григорьевна так же шутливо ударила его лорнеткой по руке... Урманов, разговаривавший в это время с товарищем, смотрел искоса и слегка тревожно в их сторону... Через полчаса

молодые попрощались и уехали на несколько дней в «свадебную поездку». После них уехали и московские гости. Проводив их, генерал несколько минут еще стоял у калитки. За ним вытянулся старый слуга с военной выправкой, бывший много лет его денщиком.

– Ну, вот, брат, – сказал генерал... – И того... И окрутили.

Старик еще более выпрямился и ответил:

– Так точно, ваше превосходительство!

– Д-да! В наше, брат, время, – продолжал генерал, обращаясь сразу к старику и ко мне, – все это делалось по-иному... Что?.. А?.. После церкви – на колени перед родителями... Потом – дым коромыслом... Поздравления, звон бокалов... Молодежь... веселье.

Он замолчал, как бы вглядываясь во что-то далекое, и затем, вздохнув, прибавил:

– Что поделаешь, брат... Мир, того... год от году меняется...

И старый слуга, держа руки по швам, ответил:

– Так точно, ваше превосходительство...

Этот краткий диалог показался мне довольно комичным. Я был неспособен в то вре-

мя понять трагедию «старого мира». «Новый мир» поглощал все мое внимание.

Урмановы вернулись в конце недели, и опять их можно было видеть в парке то с генералом, то одних. Урманов имел вид необыкновенно счастливый, и все аллеи и уголки парка, казалось, переполнены мельканием его счастья.

– Так и кажется, – шутил один из товарищей Урманова, – что в парке осенью вдруг защелкали соловьи.

Урмановы поселились на отдельной дачке в лесу...

Однажды мне случилось ехать в Москву в академической линейке-омнибусе. Я был один, но на дороге линейка вдруг остановилась. На шоссе по тропинке от лесных дач вышли Урмановы. Она радушно поздоровалась со мной и осталась стоять у дороги, а Урманов сел в линейку. И пока старое сооружение двигалось по шоссе, Валентина Григорьевна стояла белым пятном у леса и махала зонтиком. Урманов радостно отвечал. Когда дорожка скрылась за поворотом, – он озабоченно пошарил в кармане и вынул большой пакет, за-

адресованный круглым почерком Валентины Григорьевны. Глаза у меня были хорошие, и я невольно прочел на адресе: «Америка». Урманов спрятал его и достал другой, поменьше. Лицо его стало озабоченно. На этом конверте тоже стояло слово «Америка», но почерк был Урманова...

«Цель фиктивного брака достигнута», – подумал я.

Радость Урманова казалась мне великодушной и прекрасной... В тот же день под вечер я догнал их обоих в лиственничной аллее, вернувшись из Москвы по железной дороге. Они шли под руку. Он говорил ей что-то, наклоняясь, а она слушала с радостным и озабоченным лицом. Она взглянула на меня приветливо, но не удерживала, когда я, раскланявшись, обогнал их. Мне показалось, что я прошел через какое-то светлое облако, и долго еще чувствовал легкое волнение от чужого, не совсем понятного мне счастья.

Вечером я долго разговаривал с Титом, но этого мне показалось мало. Я сел за письмо к товарищу, жившему в Киевской губернии. Так как он не знал никого из действующих

лиц, то я свободно рассказал всю историю, как она мне представлялась. А рисовалась она мне вся в светлом облаке. Урманов – замечательный человек, «американка» – необыкновенная женщина. Он влюблен в нее, – это несомненно. От этого фиктивный брак казался мне еще интереснее. Вообще, все мне казалось красиво, интересно, возвышенно и превосходно. Даже старый генерал... Я почти любил его за то, что он доставил в этой картине необходимую черту: старого деспота, без которого картина была бы неполна...

Кончив письмо, я еще долго стоял у окна, глядя в безлунную звездную ночь... По полотну бежал поезд, но ночной ветер относил звуки в другую сторону, и шума было не слышно. Только туманный ответ от локомотива передвигался, то теряясь за насыпями, то выплывая фосфорическим пятном и по временам освещаясь огнями...

Ночной холод проник в наш номер и разбудил Тита. Он сердито поднялся на постели и сказал:

– Запри окно! Что ты с ума сошел, что ли?.. Я запер окно, но, подойдя к Титу, сказал:

– Тит, несчастный! Ты боишься простудиться в такую ночь...

– Поди, поцелуй бабушку сторожа Кузьми-ча, если ты в таком восторге... – отвечал Тит. – А мне не мешай слать...

И оба мы захохотали...

## Х

Время шло. Студенты съезжались с каникул, вдачи пустели, публика поредела. Генерал захворал и не показывался в парке. Я заходил к нему, но он не принимал.

Урмановы вели довольно общительный образ жизни, принимали у себя студентов, катались в лодке, по вечерам на прудах долго раздавалось пение. Она очень радушно играла роль хозяйки, и казалось, что инициатива этой общительности исходила от нее. Она звала меня, но я немного стеснялся. Их общество составляли «старые студенты»; я чувствовал себя несколько чужим и на время почти потерял их из виду...

Однажды под вечер я опять увидел их в парке на пристани у пруда. Валентина Григорьевна стояла, Урманов сидел на скамье. По-



видимому, она приглашала его идти, он упрямылся. Вид его показался мне странным: шляпа сдвинулась несколько на затылок, голова была закинута, на лице виднелось несвойственное ему выражение, делавшее его неприятным. Такое выражение я видел прежде один только раз, во время жаркого спора на сходке. Спорил с Урмановым человек несимпатичный, но умный и замечательно выдержанный. Урманов разгорячился. Видно было, что он переносит свою вражду к человеку на его аргументы. На этот раз противник был прав, и ему было легко опровергнуть доводы Урманова. Но, вместе с тем, было заметно, что он задевал в Урманове самолюбие, и это доставляло ему удовольствие. Несколько колкостей еще более раздражили Урманова. Казалось, в нем проснулся какой-то мелкий и злобный бесенок, дремавший в глубине симпатичной и пылкой натуры. Он не мог остановиться, отрицал очевидности, сознавал, что неправ, что все это признают также, и от этого горячился еще больше. Аудитория, обыкновенно увлекавшаяся его пылом, теперь была против него, по ней то и

дело перекатывался иронический смех, а в Урманове все больше освобождалось что-то злое, доводившее его до бессилия.

Несколько дней после этого он стыдился своей вспышки и казался подавленным.

Теперь на его лице было то же выражение. Когда я приблизился, он смолк и посмотрел на меня в упор, но как будто не узнал и только выжидал, скоро ли я пройду мимо.

Мне стало неловко, и я ускорил шаги, слегка поклонившись. Урманов продолжал сидеть с руками в карманах. Валентина Григорьевна сдвинула брови, посмотрела на него внимательно и повернулась ко мне.

– Здравствуйте, Потапов, – сказала она, подавая мне руку... – Куда вы это?

– Так, никуда определенно...

– Ну, так проводите меня... И, может, зайдем к моему старику... Василий Парменович, вы пойдете?

Она спросила в пол-оборота, но ждала ответа внимательно.

– Нет, я останусь.

Она пошла вперед, и опять ее каблуки твердо и чеканно застучали по камням при-

стани.

Через день или два я шел с удочками на пруд. На пруде был небольшой островок и на нем две скамеечки для рыбной ловли. Пробраться туда надо было узкой тропочкой, – кое-где чрез кочки. Поэтому ходили туда только рыболовы. Публика заходила редко.

Я уже подошел к тропинке и хотел свернуть на остров, как на дорожке появились Урмановы. Они горячо говорили о чем-то и оба были взволнованы. Увидев меня, она как будто обрадовалась.

– Потапов, Потапов, постойте...

Я остановился.

– Куда вы это? С удочками? Возьмите нас... Где это?.. Здесь?.. И у вас две удочки? Вот как хорошо!.. Пойдем.

Мне показалось, что она с легким усилием выдернула свою руку из-под руки Урманова и пошла со мной по тропинке, ловко перепрыгивая с кочки на кочку. Подбрав юбки, она ловко и твердо прошла по дощечке, уселась на скамейку, размотала удочку и быстро закинула лесу.

– Постойте, Валентина Григорьевна... Надо

червяка...

Она протянула мне свою удочку. Я надел червяка и тоже закинул удочку.

Потянулись минуты. Пруд стоял гладкий, уже в тени. По временам что-то тихо всхлипывало между татарником... Бегали большие плавуньи. Я следил не особенно внимательно, сознавая, что все это вышло как-то нарочито и искусственно. За своей спиной я чувствовал Урманова. И мне казалось, что он большой и темный.

– Берите, берите... Вы зеваете... У вас клюнула, – сказала вдруг тихо Валентина Григорьевна... – Ах, какой вы неловкий...

Казалось, она действительно увлечена ловлей. Я подсек слишком резко. Большая рыба мелькнула над водой, но сорвалась с крючка и упала обратно.

– Какая досада... вы плохой рыбак, – говорила она тихо и твердо. – Вот смотрите, как надо!..

Она твердо выдернула удочку, и небольшой карасик, описав в воздухе дугу, упал на берег.

– Снимите, пожалуйста, – сказала она Ур-

манову.

– Скоро это кончится? – услышал я голос сзади...

– Вы снимете?

– Снял. Что с ним делать?

– Бросьте в воду...

Она опять закинула, и опять потянулось время. Мне был виден конец ее удочки, отражение в пруде и поплавок, окруженный кольцом точно расплавленного серебра на фоне темной глубины. Мой поплавок вздрагивал, колебался, исчезал из глаз, опять появлялся и опять уплывал куда-то далеко. Я испытывал странное напряженное состояние и сознавал, что оно происходит оттого, что рядом со мной сидит Валентина Григорьевна, а на берегу, у меня за спиной – Урманов. И что это между ними стоит то тяжелое и напряженное, что передается мне.

– Скоро это кончится? – спросил опять Урманов, угрюмо и жестко.

– Не знаю, – ответила холодно Валентина Григорьевна... – Когда вы захотите...

– Я хочу... сейчас...

– Нет, вы сейчас еще не хотите, – ответила

молодая женщина твердо. – Когда захотите, вы мне скажете.

– Странно, – пробормотал Урманов...

Опять шли минуты... Солнце совсем село, потянуло сыростью и прохладой, спускались сумерки...

– Валентина Григорьевна!.. – Голос Урманова звучал мягкой печалью...

Валентина Григорьевна прислушалась.

– Становится темно, – произнес я довольно жалобным тоном.

– Да? – переспросила Валентина Григорьевна... – Вам, бедненькому, надоело? Ну, – она вздохнула, – хорошо, пойдём!

Когда мы вышли из кустов на дорожку, она сказала:

– Дайте вашу руку. Не так. Вот как надо.

Над прудом кое-где стлался туман, и, когда мы вышли на большую дорожку, я удивился, как это еще за минуту мы могли увидеть поплавки... Теперь у рыболовных скамеек было совсем темно. Какая-то водяная птица кричала на островке, где мы сидели за минуту, как будто спрашивая о чем-то из тьмы. Молодой серп луны поднимался, не светя, над лугами

за плотиной.

Я чуть ли не в первый раз шел под руку с дамой. Сначала мне было неловко, и я не мог приноровить свою походку; но она шутливо и твердо помогла мне, и, идя по аллее, я чувствовал себя уже гораздо свободнее. Наши шаги звучали согласно, отдаваясь под темным сводом лип. Она плотно прижалась к моему плечу, как будто ища защиты. Я чувствовал теплоту ее руки, прикосновение ее плеча, слышал ее дыхание.

В темной аллее ее лица совсем не было видно... Я вспоминал свое первое впечатление: холодный взгляд, повелительный и пытливый, выражение лица неприятное, властное и сухое... Потом мелькнуло другое выражение: женственное и трогательное, потом все спуталось в общем безличном обаянии женской близости, – близости любви и драмы... Я уже не различал, моя эта драма или чужая... Мне начало казаться, что со мной идет другая, та, что на Волге...

Воображение стало работать быстро. Ей тоже понадобился фиктивный брак... С какой радостью стою я с ней перед аналогом... Те-

перь это она идет об руку со мною... Это у нас с ней была какая-то бурная сцена три дня назад на пристани. Теперь я овладел собой. Я говорю ей, что более она не услышит от меня ни одного слова, не увидит ни одного взгляда, который выдаст мои чувства. Я заставлю замолчать мое сердце, хотя бы оно разорвалось от боли... Она прижмется ко мне вот так... Она ценит мое великодушие... Голос ее дрожит и...

– Что вы молчите все? – сказала вдруг Валентина Григорьевна. – Здесь так темно и жутко. Потапов!.. Расскажите мне что-нибудь о себе... У вас есть мать?.. Кто этот долговязый молодой человек, с которым вы часто гуляете? Как его зовут? Тит? Смешное имя. Он ваш приятель?.. хороший? Даже очень?.. Да у вас, должно быть, все хорошие? Весь мир... Он вас, кажется, зовет Потапычем? Потапыч! Мне это нравится. И вы мне нравитесь. И мне хочется знать о вас все... Вы мне расскажете? Да?.. Ах, милый Потапыч, – сказала она вдруг с шутливой ноткой в голосе, прижимаясь ко мне. – Зачем вы не захотели тогда жениться на мне... Вы были бы такой славный и, наверное, та-



кой удобный муж.

И в аллее рассыпался ее звонкий смех...

– Ну, что же вы все-таки молчите? – сказала она опять через минуту и затормошила мою руку. – Отчего не отвечаете? Правду я говорю?.. Да?

– Что же мне говорить? – сказал я беспомощно.

– Да ведь я вас спрашиваю: вы были бы удобный муж? Ах, милый Потапыч, когда-нибудь... вы, конечно, тоже женитесь... Это очень трудная вещь, милый Потапыч, жениться. И главное, не считайте, что все дело в том, чтобы вас обвели вокруг аналая... Да, да... Конечно, вы это знаете?.. И не придаете никакого значения пустому обряду?.. Ничего вы не знаете, милый Потапыч... Людям часто кажется, что они знают то, чего они совсем не знают... Ни себя, ни других, ни значения того или другого обряда...

– Зачем вы все это говорите? – сказал Урманов... – Потапов знает без вас, что дело совсем не в обряде...

– А в чем? – сухо спросила она.

– В чем? – Он помолчал и сказал глухо: – В

десятом августа.

Я почувствовал вдруг, как рука ее дрогнула и прижалась к моей. Через минуту она опять заговорила, обращаясь ко мне. Но голос ее стал жестче.

– Милый Потапыч... Когда наступит ваше время... остерегайтесь всяких обязательств... Это тоже цепи... Помните одно: любовь свободна... И всего лучше разумная любовь по расчету... Да, да... Когда людей связывает общность мыслей, стремлений, целей...

– Любовь прохладная, – вставил Урманов.

– Да, при ней больше свободы и самоуважения... А если... если это будет «знойный ураган», в силу которого я, впрочем, не верю, то помните, милый Потапыч, урагану нельзя ставить обязательств...

В голосе зазвучали твердые ноты...

– Да, ни в чем! Ни в обряде, ни в обещании, ни в том, что вам подали повод надеяться... Раз вы заявите женщине ваше формальное право, это конец... Вместо любви... является...

– Что же? – сказал Урманов. – Договаривайте: Потапову это будет очень поучительно.

– Он догадается сам, – сказала Валентина

Григорьевна сурово и жестко, и потом, как бы желая смягчить этот тон, она прижалась ко мне и сказала: – Вы такой хороший, Потапыч... Оставайтесь всегда таким... Я буду часто вспоминать вас таким, как вы теперь... Люди так меняются... С каждой минутой в человеке что-нибудь умирает и что-нибудь рождается.

Когда мы подошли к генеральской даче, дверь нам открыл камердинер с военной выправкой. Он снял с Валентины Григорьевны накидку, повесил ее на вешалку и затем сказал тоном доклада:

– Его превосходительство больны...

– Что такое? – живо спросила молодая женщина.

– Не могу знать, а только нездоровы сильно...

– Есть кто-нибудь?

– Марья Егоровна тут-с.

– Погодите, пожалуйста, может, что-нибудь понадобится, – сказала она нам и ушла в спальную генерала. В голосе ее слышалось беспокойство.

Через минуту она вышла и, развязывая

ленты у шляпы, сказала:

– Ничего особенного, кажется легкая простуда... Доктор уже был и не нашел ничего опасного...

– Значит, мы вернемся? – сказал Урманов.

– Нет, – ответила Валентина Григорьевна, снимая шляпку. – Я все-таки останусь еще здесь... Нужен уход...

– Валентина Григорьевна... Мне нужно так много сказать вам...

Она посмотрела в сторону усталым и скупаящим взглядом.

– В другой раз, – сказала она кратко.

## XI

Дня через два мне сказали, что в приемной наших студенческих номеров меня ждет дама. Я догадался, что это, вероятно, Валентина Григорьевна, и скоро сбежал с лестницы. Она встала мне навстречу.

– Я хотела пройти к вам в номер, но меня не пустили. Простите, пожалуйста... вы мне очень нужны...

– Что-нибудь с генералом?

– Нет... Старик, правда, был плох... Но дело не в этом... Теперь ничего.

Она сдвинула брови, как когда-то на платформе, и сказала:

– Судьба уже впутала вас в эту историю... О, господи, как все это тяжело... Кажется, самая простая вещь... И...

Она осилила волнение, и лицо ее стало опять энергично.

– Вот что, голубчик Потапов. Сходите, пожалуйста, на нашу дачу... где Урманов, и передайте ему записку. Потом придете к нам. Звонить не надо. Дверь из садика будет открыта.

– Принести ответ?

– Ответ?.. Ну, одним словом, оттуда зайдите ко мне.

Она опустила вуаль и вышла. Лицо ее, несколько взволнованное и расстроенное в первые минуты, было под конец спокойно...

Дача Урманова была недалеко в лесу. Подходя к ней, я увидел в незавешенное венецианское окно Урманова. Он сидел за столом и писал что-то на больших листах. Он работал над диссертацией, о которой говорили в академии, как о значительном ученом труде. Лицо, освещенное лампой, было красиво и спокойно. Я невольно залюбовался на него. Я чувствовал, что люблю этого человека. За что? За все. За то, что он такой умный, горячий и красивый... Что он женился фиктивным браком на американке, что он ее любит, что он страдает, что борется со своим чувством и что я до известной степени причастен к этой красивой и интересной драме.

Подойдя к окну, я постучал в стекло. Урманов вздрогнул, взгляделся в темноту и распахнул окно.

– Что такое? – спросил он. – Это вы, Пота-

пов? От Валентины Григорьевны? Войдите.

Я пошел кругом дачки. Он встретил меня в передней.

– Старик плох? – спросил он и стал снимать с вешалки пальто... – Зовут?.. Надо к доктору? В аптеку?.. Еще за чем-нибудь?..

Только теперь я увидел, как сильно изменилось лицо Урманова. Черты обострились, глаза ввалились и сверкали сухим блеском. Я подал письмо. Он быстро разорвал конверт, прочел и сказал мне:

– Хорошо... Скажите, что вы передали.

Тон его показался мне странным. Уходя, я услышал, что он бормочет что-то, тоже незнакомым, странным голосом. Между прочим я расслышал слова: «удобный муж».

Все это было так необычно и непохоже на Урманова, которого я знал, что я шел по темной дорожке в полном недоумении. Вдруг сзади послышались быстрые шаги, и из темноты на меня налетел Урманов. Я вздрогнул... Мне вдруг показалось, что он бросился на меня. Но он только схватил меня за руку, выше локтя, и заговорил быстро, волнуясь и торопясь.

– Потапов, голубчик... Простите меня... Я

оскорбил вас... И тогда тоже... Я не знаю, что со мной делается. Постойте, постойте...

Он глубоко перевел дух и сказал уже совершенно своим обычным голосом:

– Вас будут спрашивать. Скажите... что меня видели... Передали письмо.

Он опять глубоко вздохнул.

– Все будет так, как она пожелает... А того, что... Ну, вы понимаете... Этого говорить не надо. Вы мне обещаете?

– Напишите несколько слов... Я передам.

– Да, это будет всего лучше. Я сейчас... Вы тут пройдите немного.

Он быстро вбежал к себе, наскоро лихорадочно набросал письмо и отдал мне.

– Постойте, я пройду с вами, – сказал он.

Он взял меня под руку. Я не заметил сразу, что мы пошли по темным дорожкам не в ту сторону и через несколько минут очутились в парке. Вечер был темный и прохладный, но спокойный. Деревья сливались в одну сплошную массу, по которой перебежали тихие шопоты. У берегов тонули темные очертания, на глади пруда виднелось скользящее пятно. Это была лодка. В ней чуть-чуть виднелись два



силуэта. По-видимому, пловцам было хорошо в этой синей тьме с подымавшимся серпом луны и дремотой темных деревьев, тихо, невидимо ронявших свои листья...

Глубокий мужской голос запел песню... Кто был в лодке? Может быть, два студента, но мне казалось, что одна была женщина, что он поет только для нее и скупится посылать дальше задушевные ноты... Я не расслышал слов, не запомнил мотива и не знаю теперь, какая это была песня. Это была просто песня того вечера моей жизни, который не повторился более. Тут была печаль и любовь, и трепетавшая где-то глубоко внутри радость от этой любви и печали... Я забылся в этом странном ощущении... Мне вдруг показалось, что в лодке Урмановы, как это бывало еще недавно... Должно быть, что-нибудь в этом роде показалось и Урманову. Он вдруг покинул мою руку и, не говоря ни слова, исчез в темноте...

Я остался один... От островка несло чиликание ночной птицы, быть может, той самой, которая спрашивала тогда о чем-то из темноты. Сердце мое было переполнено со-

знанием радости, глупой, как крик этой птицы. Я радовался этой сумрачной печали, и, если бы мне предложили сейчас поменяться с Урмановым, я бы охотно согласился...

– Как вы долго, – встретила меня Валентина Григорьевна у калитки своей дачи. Я отдал письмо, попрощался, избегая ее расспросов, и вернулся к себе. Тит спал, одетый, на кровати. В его руках были записки по химии, а на столе горела лампа. Очевидно, он ждал меня, но я тихонько прошел через комнату, посмотрел минуту на милое утомленное лицо Тита и, раскрыв окно, сел у стола писать письмо. К храпу Тита примешался тотчас же шелест кустов и мечтательный лай собаки где-то далеко на Выселках. Письмо было опять к тому же товарищу в Киевскую губернию... Он не имел средств, чтобы ехать в столицу, и взял на год урок в маленьком местечке... Впоследствии он говорил мне, что, читая эти мои письма, плакал от зависти в своей мурье[7] и наговорил дерзостей своему принципалу, так что едва не лишился места. Помню, что на этот раз письмо мне сначала не давалось. Впечатления этого вечера врывались диссонансом в

тот образ, который я себе составил об Урманове. Но потом все опять полилось стройно и великолепно...

Когда я кончал, ветер, ворвавшийся в окно, раскидал листки по полу. Тит проснулся и сел на постели. Лицо у него было сонное и кислое...

– Что? Поздно? – спросил он.

– Поздно...

– Какого же чорта ты меня не разбудил?.. А ты все писал?

– Писал.

– Ковальскому? И все об американке?..

– Ты почему знаешь?

– Я, брат, прочитал первое твое послание, – сказал он бесцеремонно... – Философия, Потапыч, и сантименты... И ты чуть не попался этой американке?.. Дураки вы все... Предложили бы мне... Я бы все это сделал просто... Только потребовал бы черную пару на свадьбу...

И опять мы оба засмеялись...

## XII

Осень в этом году была поздняя. Листья со всем обвалились, а земля все еще дышала теплой сыростью. Последние, самые упорные дачники давно разъехались, оставив за собой все еще довольно теплые дни. Парк опустел, поредел и посветлел. Вся его листва лежала теперь красноватым ковром на земле, а между стволами носился сизоватый пар, пресыщенный пряным запахом прелых листьев и земли. С ветвей капли росы падали на землю, как слезы.

Лекции шли правильно. Знакомство с новыми профессорами, новыми предметами, вообще начало курса имело для меня еще почти школьную прелесть. Кроме того, в студенчестве начиналось новое движение, и мне казалось, что неопределенные надежды принимали осязательные формы. Несколько арестов в студенческой среде занимали всех и вызывали волнение.

Все это отодвинуло для меня драму Урманова. Генерал уехал, американка исчезла, и я ничего не знал о ней. Урманова тоже не было

видно.

Выпал первый снег. Он шел всю ночь, и на утро армия сторожей и рабочих разгребала лопатами проходы к академическим зданиям. В парке снег лежал ровным пологом, прикрывая клумбы, каменные ступени лестниц, дорожки. Кое-где торчали стебли поздних осенних цветов, комья снега, точно хлопья ваты, покрывали головки изящных астр.

Но туманное небо, неожиданно вытряхнув эту массу снега, продолжало дышать на землю теплом. Снег быстро оседался и таял. Капало с деревьев, слышалось тихое журчание. Казалось, начинается снова весна.

В этот день я смотрел из окна чертежной на белый пустой парк, и вдруг мне показалось, что в глубине аллеи я вижу Урманова. Он шел по цельному снегу и остановился у одной скамейки. Я быстро схватил в вестибюле шляпу и выбежал. Пробежав до половины аллеи, я увидел глубокий след, уходивший в сторону Ивановского грота. Никого не было видно, кругом лежал снег, чистый, нетронутый. Лишь кое-где виднелись оттиски вороньих лапок, да обломавшиеся от снега чер-

ные веточки пестрили белую поверхность темными черточками.

Было светло, молчаливо и пусто.

К следующему дню снег наполовину стаял. Кое-где проглянула черная земля, а к вечеру прихватило чуть-чуть изморозью. Воздух стал прозрачнее для света и звуков. Шум поездов несся так отчетливо и ясно, что, казалось, можно различить каждый удар поршней локомотива, а когда поезд выходил из лощины, то было видно мелькание колес. Он тянулся черной змеей над пестрыми полями, и под ним что-то бурлило, варилось и клокотало...

Стемнело, потом поля с пятнами снега покрыла ночь. Тит, по обыкновению долго засидевшийся за записками, прислушался и сказал:

– Потапыч... Слышишь, какой долгий свисток.

Он подошел к окну и открыл его. В комнату хлынул странный шум. Что-то скрежетало и визжало, как будто под самыми нашими окнами... Потом послышался ряд толчков, шипение пара, который светился и пламенел в

темноте.

– Поезд сошел с рельсов, – проговорил Тит равнодушно. – Как раз то же было прошлой осенью...

И он отошел от окна. Я еще некоторое время оставался. Поезд несколько раз, часто и гулко пыхнул паром, точно затрепыхалась чудовищная металлическая птица, тронулся опять и побежал в темноту, отбивая по рельсам свою железную дробь. Влажный ветер стукнул нашу раму, шевельнул голыми ветками кустов и понесся тоже в темноту...

Засыпая, я чувствовал легкое беспокойство. Мне казалось или кажется теперь, что воспоминание о скрежете железа пронизывало меня каким-то внутренним ознобом.

Но скоро я крепко заснул, не подозревая, что это был последний вечер моего восторженного юношеского настроения.

### XIII

На следующее утро меня разбудил стук за-  
пираемой двери.

В комнате было темно, в окна глядела се-  
рая зимняя заря, а сквозь матовое стекло на-  
шей двери просвечивал огонек свечи. Мне  
теперь кажется, что свечка заглядывала в  
комнату как-то значительно и осмысленно.

Огонек исчез. В коридоре слышались  
знакомые шаги коридорного Маркелыча. Из  
угла, где стояла кровать Тита, слышалась воз-  
ня и вздохи. Тит одевался.

Я понял, что Маркелыч сообщил Титу ка-  
кую-то новость. Все новости, случавшиеся ве-  
чером или за ночь, Тит всегда узнавал ранее  
всех, благодаря особому расположению Мар-  
келыча, который уважал моего друга за его  
«простоту» и аккуратность. Я очень любил,  
проснувшись рано утром, слушать их просто-  
душные беседы, в которых Тит с милой наив-  
ностью становился на уровень Маркелыча,  
выслушивая его новости и суждения и делясь  
с ним, в свою очередь, собственными сообра-  
жениями, пускаясь порой и в научные толко-



вания. Иной раз я не выдерживал и, «по младости», как говорил Маркелыч, начинал хохотать. К моему смеху добродушно присоединялся Тит, а Маркелыч сердито ворчал.

– Спроси, чему смеется... Сам не знает...

На этот раз, по вздохам и возне Тита, я понял, что он сильно озабочен. Я не видел его лица, и только его тощая, длинная фигура выделялась белесоватым пятном. Натянув сапоги, он вздохнул и с минуту сидел неподвижно. Потом опять вздохнул и закурил папиросу. Казалось, самый огонек, вспыхивавший в темноте, когда Тит затыгивался, выражал тревогу и растерянность.

– Сегодня Маркелыч принес Тит Иванычу печальную новость, – сказал я шутливо.

– А? Ты слышал?

– Нет, не слышал, но ты вздыхаешь, точно перед экзаменом по геодезии.

Тит затынулся окурком папиросы так, что в мундштуке затрещало, и через минуту сказал:

– Это вчера кто-то бросился под поезд.

Я был настроен шутливо и глупо.

– Голубчик, Тит... Каждый день кто-нибудь

умирает тем или другим способом... Закон природы... В сущности, Титушка, что такое смерть?.. Порча очень сложной машины... Просто и не страшно...

– Очень близко... – пояснил Тит уныло.

– Это не меняет дела.

– Сам бросился.

Я тоже закурил папиросу, потянулся и продолжал донимать Тита рационализмом.

– Что ж, значит, это акт добровольный. Знаешь, Тит... Если жизнь человеку стала неприятна, он всегда вправе избавиться от этой неприятности. Кто-то, кажется, Тацит, рассказывает о древних скифах, живших, если не вру, у какого-то гиперборейского моря. Так вот, брат, когда эти гиперборейцы достигали преклонного возраста и уже не могли быть полезны обществу, – они просто входили в океан и умирали. Попросту сказать, топились. Это рационально... Когда я состарюсь и увижу, что беру у жизни больше, чем даю... то и я...

– Не говори глупостей, – сказал Тит сердито... У него была старуха мать, которую он страстно любил.

Я засмеялся. Тит был мнителен и боялся мертвецов. Я «по младости» не имел еще настоящего понятия о смерти... Я знал, что это закон природы, но внутренне, по чувству считал себя еще бессмертным. Кроме того, мой «трезвый образ мыслей» ставил меня выше суеверного страха. Я быстро бросил окурок папиросы, зажег свечку и стал одеваться.

– Тит, пойдём туда.

– Куда?

– К платформе...

– Какого чорта ты там не видел?..

– Брось свои суеверия... Человек должен закалять свою душу против всяких резких впечатлений...

– Ну, иди, закаляй. А меня оставь в покое.

– Глупо, Титушка. Это не аргумент...

– Ну, я останусь дома без аргументов...

Я оделся и вышел...

На дворе меня охватил сырой холодок. Солнце еще только собиралось подняться где-то за облаками. Был тот неопределенный промежуток между ночью и зарей, когда свет смешан с тьмою и сон с пробуждением... И все кажется иным, необычным и странным.

Небо было сплошь затянуто облаками, но на выпуклых окнах академии играли синеватые отсветы зари. А в подвалах горели огоньки, такие же красные и маслянистые, как огни фонарей, которых еще не потушили. У церкви стоял городской в тулупе и огромных калошах, зевал и ожидал смены. Сонный извозчик проехал мимо. Он, вероятно, привез загулявших в Москве студентов и теперь крепко спал в пролетке, между тем, как лошадь тихонько бежала по знакомой дороге. Откуда-то выбежала собака, пробежала через площадку, что-то разыскивая деловито и боязливо, и затем побежала к темным аллеям парка... Вид у нее был сосредоточенный и странный, и мне невольно вспомнились деревенские рассказы об оборотнях... «Переживания прошлых веков» – мелькнуло у меня в голове...

Холодноватая сырость проникала под легкое пальто... «Не вернуться ли?..» Но я представил себе насмешливое лицо Тита и углубился в лиственничную аллею.

Утренний ветер шуршал обнаженными и обмерзшими ветвями. Я невольно вспомнил

ее такой, какой она была летом, с пятнами света и тени, с фигурами Урманова и «американки» в перспективе... Мне казалось, что это так давно... Надо будет разыскать Урманова... Положительно это его я видел в парке. Неужели он живет все на лесной дачке?.. Мне вспомнилось освещенное окно, свет лампы, склоненная над столом голова Урманова и красивая, буйная прядь черных волос, свесившаяся над его лбом...

На дорожке аллейки я увидел белый квадрат и, наклонившись, поднял оброненное кем-то письмо. Конверт был довольно большой и как будто знакомый. В углу виднелась продолговатая нерусская марка... Он был разорван, и из него выпало письмо. Совершенно безотчетно я наклонился опять и поднял листок... В аллеике, больше для порядка, чем для освещения, стояли три или четыре фонаря, светившие желтым пламенем. Подойдя к одному из них, я бросил взгляд на листок, и сразу меня поразило то обстоятельство, что в первой же строке я встретил свою фамилию:

«...– Потаповым... Это было бы гораздо луч-

ше... Признайтесь: вы не вправе были это делать. Таким образом вы брали себе шанс, которого вам не имели в виду предоставить».

«...Вы пишете, что борьба за любовь есть закон природы, и предлагаете мне своего рода поединок... Вы приедете в Америку и привезете свою бурную страсть против моей прохладной, как вы называете, любви... Думаю, что это лишнее. Борьба за любовь... Да почему вы думаете, что я в свое время не боролся?.. Если же вам представляется, что каждый муж обязан отказываться от своего права, как только он будет вызван на поединок новым претендентом, то это – простите – закон прерии, где пасутся стада буйволов, а не человеческое общежитие. Наконец, высший закон общежития – свобода. И с вашим предложением вы должны были обратиться не ко мне, а к Валентине Григорьевне... Но...».

На этом кончалась страница, и только тут я спохватился, что читаю письмо, адресованное не мне. Поэтому я спрятал его в карман, решив сегодня же разыскать Урманова и передать ему конверт... Интерес к его драме ожил во мне с новой силой... Так вот что он

предлагал!.. Имел ли он на это право или нет?.. Мне казалось, что имел... Крупный, отчетливый и прямой почерк его противника мне не нравился.

Охваченный течением этих мыслей, я чуть было не повернул обратно, к академии. Но платформа была близко: последние лиственницы аллейки уже махали по ветру своими ветками, и над обрезом холмика виднелась деревянная крыша беседки. Солнце всходило, но еще не вышло из-за туч, виднелось полотно дороги, на котором черная земля проглядывала сквозь талый снег, и две пары рельсов тянулись вдоль светлыми полосками... В беседке, закрытые от меня стеной, сидели два человека, и один говорил о чем-то негромко, ровно, бесстрастно. Другой слушал, подавал короткие реплики... Мне до сих пор чудится по временам этот бесстрастный голос... Третий мужик шел по рельсам, держа в руке какой-то черепок, и, по временам нагибаясь, подымал что-то, раскиданное по шпалам.

Я обошел беседку и подошел к разговаривавшим.

На полу беседки под навесом лежало что-

то прикрытое рогожей. И еще что-то, тоже прикрытое, лежало на листе синей сахарной бумаги, на скамейке, на которой в летние дни садилась публика, ожидавшая поезда. Однажды я видел здесь Урмановых. Они сидели рядом. Оба были веселы и красивы. Он, сняв шляпу, проводил рукой по своим непокорным волосам, она что-то оживленно говорила ему.

Мужик подошел к скамейке и отдернул рогожу. Я не сразу понял, что он делает, и только смотрел, как он ссунул щепкой из черепка, который нес в руках, что-то сероватое, с красными прожилками... Оно шлепнулось как будто в чашку... Потом также тщательно и равнодушно он сдвинул той же щепкой осколки костей и потом... еще кусок чего-то с прядью черных волос...

Я внезапно вздрогнул и, – не помню, как это случилось, – быстро подошел к другой рогоже, лежавшей на полу, и сдернул ее.

.....

Следующих за этим секунд я совсем не помню. Были ли это секунды, или минуты, или часы, я не мог бы дать в этом отчета.



Знаю только, что в это время что-то быстро повернулось во мне... Я вдруг вспомнил скрежет железа и чудовищные, как выстрелы, вздохи локомотива... Мне показалось, что я их слышу в эту минуту, и я невольно, предостерегающе громко крикнул:

– Урманов, Урманов!

Кто-то грубо схватил меня за плечо и оттолкнул назад.

– Не балуй, барчук, – гневно сказал мужик и опять покрыл «это» рогожей. Другой, с знакомым лицом дорожного сторожа, повернул меня и вывел из беседки... Я очнулся на платформе, посмотрел кругом и... засмеялся... Мне казалось, будто все, что я только что видел, было глупым и «стыдным» сном, будто я только что рассказал этот сон мужикам, и от этого мне было очень совестно...

– Смеется, – сказал один из мужиков, заглядывая мне прямо в глаза...

– Ну... видишь, повело его как... товарищ, видно, – сказал другой. – Ступай, барин, отседа... Делать тебе тут нечего. Иван, ты бы проводил, мне, вишь, некогда. Сейчас пройдет четвертый номер.

– Проводить, что ли?.. – сказал рыжий в раздумье.

Но я отмахнулся и пошел по платформе. Из мглы выступали очертания поезда, и в рельсах начинало переливаться что-то тоненьким металлическим клокотанием... Я почти выбежал на холмик и вошел в аллею. Поезд прошумел и затих... Вскоре послышался его свисток с ближайшего полустанка. В это время я сидел на мокром откосе придорожной канавы и не помнил, как я сел, и сколько времени сидел, и как поднялся. Зубы мои стучали. Мне показалось, что внутри у меня холодно от вчерашнего железного скрежета.

– Что это с тобой, Потапыч? – спросил с беспокойством Тит, когда я вошел в номер. – На тебе нет лица... И ты весь дрожишь... Ах, Потапыч, Потапыч, напрасно, видно, храбрился... На, вот, выпей чаю... Или, постой, я заварю лучше липового цветку... Вот, пей... Теперь раздевайся, сними сапоги, ляг в постель... Да что это тебя так расстроило?

Я сжал зубы и ответил одним словом:

– Урманов...

По лицу Тита пробежала судорога... Черты

его странно передернулись, но дальше я ничего не видел и не слышал. Я повалился на кровать и тотчас заснул странным, тяжелым, глубоким сном...

Впрочем, в моей памяти осталась, точно донесшаяся откуда-то издалека, фраза Тита:

– Ах, Гаврик, Гаврик. Вот до чего доводят все эти фиктивные браки, Америки и вообще философия.

# Часть вторая

## I

Помню один день из моей детской жизни. Я был очень огорчен чем-то и лег днем на свою постель. Было около полудня, на дворе светило солнце и надвигалась туча. Я как-то незаметно в огорчении заснул, сквозь сон слышал раскаты грома и проснулся, когда гроза и ливень прошли. Все было опять так же, как за полчаса перед тем, но я не узнавал того же самого дня. Мне казалось, что в моем времени произошел какой-то перерыв или, наоборот, оно прокатилось слишком быстро, как развернувшаяся пружина. Тот ли это день, та ли комната? Где я и кто я? Неужели я спал только полчаса?.. Или прошла ночь, настало утро, и оно застает меня в каком-то новом месте? Петух кричит на дворе, и голос у него басистый и мокрый. Лает собака, и лай напоминает что-то знакомое, бывшее давно... И детские голоса несутся откуда-то издалека, точно воспоминание о голосах, звучавших ко-

гда-то... И тот маленький человечек, который еще недавно ложился в мою постель, – я ли это, или кто-то другой, о котором я только помню?..

С таким же ощущением я проснулся теперь, через несколько часов, и, должно быть, в моем взгляде было что-то необычное, потому что Тит, сидевший с записками за столом, встал и наклонился ко мне с беспокойством:

– Что с тобой?

– Решительно ничего, – ответил я, – но... мне не хочется говорить.

– Поспишь, еще?

– Да.

Тит опять, погрузился в записки и по своей еще школьной привычке закрыл уши. Его профиль рисовался на светлом фоне окна, а я смотрел на него и с удивлением спрашивал: кто это?

Я знал, что это Тит, знал внешнюю историю его жизни, знал, что он мой товарищ и друг, но все это мне известное все-таки не отвечало на вопрос. Я смотрел на него во все глаза и будто видел его впервые...

Профиль, резко выступавший в квадрате

окна, стал расплываться. Что-то сделалось с моими глазами, и Тит вдруг стал близким и огромным. Потом явилось два Тита и два профиля в окне. Голова у меня кружилась... Я сделал усилие, и обычная фигура Тита оказалась одна и на месте. Но это меня не успокоило. Мгновение, и начались опять те же превращения...

«Что же правда? – думал я. – Может, это мне только кажется, что этот вот один Тит есть правда... Может, их всегда два, и только в обычное время я этого не замечаю... Потому что мне удобнее, чтобы Тит был один. При двух Титах неприятно кружится голова...»

«Галлюцинация», – подумал я вдруг, и это слово меня успокоило. Я сделал усилие, водворил образ Тита на место и закрыл глаза... Раскрыл... Тит был один, голова кружилась меньше... Хорошо? Нет, я все-таки не знаю, кто это.

Я очень любил Тита, и еще недавно он казался мне понятным. В начале гимназического курса я привык смотреть на Тита с почтением: он был много старше меня и шел тремя или четырьмя классами выше. Но бедняга

был очень туп, и год за годом я нагнал его в последних классах. Мне было странно, что мы стали равные и подружились. Тита все считали тупицей, но все его уважали. Учился он плохо, но был лучшим репетитором для малышей. Ему приходилось порой бегать к товарищам за разрешением простой задачи, и он с трудом усваивал решение. Но на следующий день его ученики отвечали превосходно. Он умел работать и умел заставить работать других.

Тит одолевал курс с величайшим трудом, и вся гимназия следила за этой драмой. Когда кончался какой-нибудь экзамен, все спрашивали: «А как Тит?» – и радовались, если дело шло благополучно. Все знали, что Тит «не способен к наукам», но когда нужно было «поправить отметки» отстающего малыша, то директор советовал родителям отдать его Титу. Иногда он затруднялся вопросами мальчишек по тому или другому предмету, но родители очень часто прибегали к его советам в важных житейских делах. И он разрешал самые запутанные случаи просто и очень умно. Однажды, на уроке геометрии, сбитый с толку

тем, что учитель повернул на чертеже треугольник острым углом книзу, тогда как в учебнике острый угол был кверху, Тит поднялся на носки и, вывернув голову, стал смотреть сверху вниз. Его долговязая фигура и странная попытка были так комичны, что все хохотали: ученики, учитель и сам Тит... Он был весел по природе, и сам умно и искренно смеялся над своей тупостью... И в то же время все чувствовали, что Тит один среди нас – серьезный человек. И это потому, что у него была задача в жизни. У него была мать, которую он страстно любил, и сестра, которую надо было вывести в люди. И он с ранних лет делал это дело с великими усилиями. Это было драматично. И это все уважали.

Я тоже уважал Тита и нежно любил его. Я часто помогал ему в «сочинениях», и его «зубрежка» подавала повод к моим шуткам. Но я ничего не скрывал от Тита и слушал его советы в житейских делах. Я уже говорил о том, как я собирался облагодетельствовать семью дорожного сторожа в будущем... Меня глубоко трогало то, что Тит, не вдаваясь «в философию», часто носил им сахар и булки, о чем я



как-то забывал...

Поэтому всегда с личностью Тита у меня связывалось особенное чувство: в нем было и представление о его смешной тупости, и преклонение перед его практически умом и узкой, но деятельной добротой. Тут была улыбка и нежность, юмор и уважение...

Теперь я смотрел на Тита и испытывал только сухой остов этих ощущений. Он сидел, наклонясь, и, закрыв уши, тихо зубрил про себя. Шея у него была длинная и сухая. По мере того, как он зубрил, тихонько произнося слова, одно из сухожилий двигалось, как будто принимало участие в учении... И ничего больше не было. Я не «ощущал» Тита, того Тита, каким он был для меня вчера...

Вот он сидит и работает... Запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки... И мне невольно вспомнилось, что я так же над столом видел Урманова... Он был, наоборот, очень способен... О его работе, если она осталась, будут говорить... Тит зубрит. Урманов творил... И это оттого, что у Тита в мозгу недостает чего-то... Чего-то, что вчера лежало, разбрызганное на рельсах, и что мужик собирал

мокрой щепочкой в грязный черепок... Каково оно, то, что создает мысли: белое или красноватое?.. Склизкое... Там было разбрызгано все... И восторженность, и экспансивность, и «идеи», которые воспевал наивный поэт, и любовь, которой я так любовался... Все, все... «Мысль – выделение мозга»... Я посмотрел на эти слова под портретом Фохта, и вместо восторга, от них по мне прошла дрожь... Бедный Тит... Его мозг «выделяет плохо». Я представил себе, как вяло перебегают мысли Тита в том беловатом студенистом веществе, которое находится под его узким черепом. И вздрогнул от отвращения... Потом представил себе, как быстро и отчетливо перебежали они под черепом Урманова, и опять вздрогнул... Черная прядь волос, освещенная светом лампы... Это красота... Та же прядь, там на рельсах... Да, там лежало все это: и любовь, и ревность, и восторг, и отчаяние... Котел разбит, содержимое перемешано в некотором беспорядке, рычаги и шестерни раскиданы врознь... Это и значит, что Урманов умер... И вот смерть... И вот жизнь... Что-то движется, ползает, просачивается по физическим зако-

нам. Это жизнь... Навешивайте на нее какие угодно украшения... Остановите движение – смерть! Одевайте ее красивым трауром, мистическими и грандиозными вымыслами... Что касается меня, то для меня не было теперь ни красоты, ни траура... Я вижу обе стороны медали, сведенными в одно... Просто, ясно и отвратительно...

## II

Тит перестал писать, взглянул на часы и принялся укладывать тетради.

– Который час? – спросил я.

Тит вздрогнул от неожиданности и обернулся.

– А! Ты не спишь? Два часа, сейчас пятая лекция. Пойдешь?

– Пожалуй.

Я поднялся вяло: не хотелось идти и не хотелось оставаться.

– Что там такое сегодня? – спросил я.

– Лекция братушки.

– А!

– Как ты думаешь: будут ему свистать или нет?

Я посмотрел на Тита с удивлением. Его вопрос напомнил мне о чем-то, происходившем тоже будто давно, перед грозой или во сне. Действительно, кто-то рассказывал о профессоре Бел\_и\_чке предосудительные вещи, и вчера еще я сам горячился по этому поводу. Но теперь я равнодушно зевнул.

– А чорт его знает...

Тит удивился и пытливо посмотрел на меня.

– Ты здоров?

– Что мне делается?..

– А ты бы посмотрел на себя утром... Желтый, глаза, как у сумасшедшего... Да и сейчас еще смотришь нехорошо. Останься дома...

– Пойду...

Я действительно чувствовал себя нехорошо. На душе было тошно, хотелось что-то выкинуть, от чего-то избавиться... Что это? – задал я себе вопрос, остановившись посередине комнаты под беспокойным взглядом Тита... Да я знаю: это скрежет железа и *то*, что было там, на платформе. Но мне уже от этого не освободиться. Этот знобящий скрежет проник мне глубоко в душу и раздавил в ней что-то.

Мне рассказывали незадолго перед тем, что горничная у моих знакомых, обтирая окна снаружи, упала с третьего этажа. По странной случайности, она стала прямо на ноги и даже пошла сама в дом. На вопрос, что с ней, она спокойно отвечала: «ничего решительно». Но к вечеру она умерла: оказалось, что-то оборвалось у нее внутри.

Мне вспомнился этот случай. Со мной тоже «ничего», и тоже оборвалось что-то важное, без чего как будто нельзя жить...

Тит по-своему объяснил мою внезапную задумчивость и сказал:

– Да, брат... Бедный Урманов... Вот чем кончилось!..

Я удивился. «Бедный»? Почему?

Тит удивился в свою очередь:

– Да ведь это же Урманов... там... Уже все знают.

– Ну, так что же? Кто ж теперь бедный? Ведь Урманова нет... Ты, значит, жалеешь то, чего нет.

– Но еще вчера был... живой.

– Кто был?..

– Урманов...

– Ах да... Ты вот о чем... Ну да, конечно, был живой.

Я все-таки не чувствовал жалости. Когда я старался представить себе живого Урманова, то восстанавливал его образ из того, что видел у рельсов. Живое оно теперь было для меня так же противно... Ну да... Допустим, что кто-то опять починил машину, шестерни ходят в порядке. Что из этого?

– Знаешь, Тит, – сказал я серьезно. – Это я выдумал Урманова. Урманова не было... Понимаешь: не было вовсе...

– Ну да, брат, – ответил Тит так же серьезно, – я всегда говорил тебе: ты идеализируешь людей...

Я пожал плечами. Ах, это все не то. Тит хочет сказать, что я приписал Урманову свойства, которых у него лично не было, но которые могли быть у других. А я чувствовал, что их вообще нет. Нет чувства, нет красоты, нет любви, нет самоотвержения... все это выдумки. Что же есть?.. Есть железный скрежет мертвой природы, наполняющий вселенную, от которого идет этот мертвящий душевный холод. А под ним – *это*... До сих пор я спал и

видел во сне свой выдуманый мир. Так иногда мы слушаем во сне чудные стихи, от которых душа пламенеет восторгом, но стоит проснуться, и в памяти остаются только обрывки, без склада и смысла... Вот и я теперь проснулся и вижу, что сочиненная мною поэма была глупее Урманиады наивного поэта...

– Ну, пойдём на лекцию!

### III

У церкви стоял, как и утром, городской в тулупе и огромных валенках. Все – и площадка, и здание, и небо, было точь в точь как и утром, и это возбуждало досаду. Все как будто нарочно лезло в глаза, чтобы напомнить, что с того утреннего часа не прошло и суток. Между тем, я знал про себя, что с тех пор прошла целая вечность...

– Вам письмо...

Академический швейцар подал мне письмо, которое я тотчас же наскоро вскрыл... Это был ответ товарища, которому я писал о своих впечатлениях... Что такое я там писал?.. Да!.. Как глупо!.. Он стораёт от зависти, что

ему приходится жить в темной труппе, тогда как на свете есть такие райские места, такие интересные ситуации, такие замечательные люди...

Дурак отвечает идиоту...

Я сунул смятое письмо в карман, и должно быть, последнюю фразу я произнес громко. Швейцар посмотрел на меня с удивлением, а с верхней площадки лестницы наклонился субинспектор.

– Т-с-с!.. – прошептал он.

Маленький, толстый старичок, с бритым и смешным лицом, казался встревоженным. Из ближайшей аудитории слышался ровный голос лектора, а из дальнего конца коридора неся смешанный гул; субинспектор с тревогой наставлял привычное ухо, прислушиваясь к этому шуму; опытный человек уловил в нем особый оттенок: если каждый из сотни молодых голосов повысится против обычного на терцию, общий говор аудитории напоминает растревоженный улей.

Старик подошел ко мне и взял меня под руку, все наставляя ухо и тревожно оборачиваясь в сторону первой аудитории. Он знал



когда-то моего отца и был ко мне расположен, как земляк к земляку. Мы не раз с ним беседовали. Старик почему-то любил именно при мне вспоминать свои молодые годы. Он учился когда-то в горыгорецком земледельческом институте и уже оканчивал курс, когда случилась какая-то история. Он был депутатом от студентов, и его («времена были строгие») отдали в солдаты. Потом он служил писцом в какой-то канцелярии, женился, бедствовал... «Молодые увлечения» давно забылись. Теперь директор академии, его старый товарищ, доставил ему место субинспектора... Старик страшно трусил, чтобы не потерять его, либеральничал перед студентами и... чутко наставлял уши... Я с большим интересом относился к его рассказам и прежде «чувствовал» его личную драму, как чувствовал драму моего Тита. Судьба матери, жены, детей – вот что заставляло старика тревожиться и тащить тяжелую лямку. «Ах, трудно ладить с молодежью, – скажу вам одному откровенно, – говаривал он, вздыхая. – Вы думаете, я не понимаю?.. Все понимаю. Молодые стремленья. Сам пострадал когда-то...» Теперь он

имел вид озабоченный и официальный.

– Здравствуйте, господин Потапов, – сказал он. – Что там у вас такое?

– Ничего особенного, – ответил я. – Впрочем... Урманов бросился под поезд...

Он сделал огорченное лицо.

– Да, да... Конечно. Я знаю... Огромное несчастье... Надежда академии... И такая ужасная смерть... Но... послушайте...

Он взял меня под руку и, наклоня коротко обстриженную голову на толстой негнущейся шее, спросил:

– Неужели же и в этом виноваты профессора или администрация?

– Конечно, нет.

– А между тем...

Он опять беспокойно наставил уши.

– Слышите?.. Слышите, какой шум?

Аудитория гудела... Из общего шума выносилась отдельные звонкие голоса.

– Да, шумят, – сказал я равнодушно.

– Послушайте, Потапов... – Голос старика стал задушевым и вкрадчиво мягким. – Мы с вами земляки... Я знал ваших родителей. Превосходные люда... Будьте со мной откровен-

ны. Скажите, что вы там затеваете? Из-за чего это волнение?

Я усмехнулся. Наивный старик во имя знакомства с моими родителями предлагал мне, в сущности, стать доносчиком. Теперь я понял некоторые его намеки и наивные подходы, с которыми он обращался уже несколько дней... Если бы самая мысль об этом пришла мне вчера, она вызвала бы во мне сильнейшее негодование, и могла бы вспыхнуть история, очень неприятная и для него, и для меня. Но теперь никакого негодования не было. Вошло что-то, сравнявшее для меня шумящих молодых людей с этим старым наивным сыщиком. Я только пожал плечами.

– Какое мне дело до всего этого? – сказал я просто... – Впрочем, вы можете не беспокоиться. Все-таки они волнуются больше оттого, что с одним из них вышла эта неприятная случайность.

Он бросил мою руку, и в его глазах мелькнул злой огонек.

– Что вы меня за дурака считаете, что ли?... Неприятная случайность... Чеха вы собираетесь освистать, а не неприятная случай-

ность... Вы не хотите быть со мной дружески откровенным...

– Знаете что, – сказал я вяло... – Если бы я захотел быть с вами откровенным, я бы знал, что вам сказать на ваше предложение. Но мне лень... Впрочем... Я все-таки сказал вам правду... Вы были когда-нибудь на бойне?

Он вскинул на меня свои заплывшие глазки с тревожным недоумением...

– Мне случилось раз... И когда убьют одного быка, другие отчего-то беспокоятся и волнуются... Инстинкт бессмысленный, но нужный в интересах борьбы за существование...

Старик отодвинулся от меня, и даже губы его, полные и немного смешные, тревожно вытянулись. В это время на площадке лестницы появилась лысая голова и полное, упитанное лицо профессора Бел\_и\_чки. Субинспектор побежал ему навстречу и стал что-то тихо и очень дипломатически объяснять... Чех даже не остановился, чтобы его выслушать, а продолжал идти все тем же ровным, почти размеренным шагом, пока субинспектор не забежал вперед, загородив ему дорогу. Я усмехнулся и вошел в аудиторию.

Здесь ко мне сейчас же бросилось несколько человек, закидавших меня беспорядочными нервными расспросами. Одни торопливо спрашивали, что я знаю об Урманове, другие перебивали и говорили о чехе... А я смотрел на всех и чувствовал на своем лице какую-то странную, точно чужую для меня, улыбку. Да... еще вчера они вправе были ожидать, что я внесу во все это кипение свою собственную долю. Но теперь я потерял способность понимать и чувствовать это знакомое возбуждение. Я видел только взмахивающие руки, раскрывающиеся рты, красные лица... И смеялся той же чуждой мне улыбкой.

К моему удовольствию, дверь аудитории раскрылась и на пороге появилась невозмутимая фигура Бел\_и\_чки. Мне бросилось как-то особенно резко в глаза его упитанное белое лицо с отчетливым густым, точно очерченным румянцем на пухлых щеках. «Обилие жировых отложений, – мелькнуло у меня в голове, – и... значительная пигментация»... За дверью на мгновение мелькнула тревожная круглая фигура в вицмундире, и дверь тотчас же закрылась. Бел\_и\_чка спокойным, уверен-

ным шагом поднялся на кафедру, переждал полминуты, пока студенты рассаживались по местам, потом сел, и сразу с кафедры полился его ровный, бесстрастный голос.

«Голос тоже масляный и жирный, – подумал я. – Как будто жировые отложения и в голосовых связках...»

– В прошлую лекцию, милостивые государи, мы остановились на taeniadae...

Чех был превосходный лектор, но теперь я не восхищался его искусством... Недавно про Бел\_и\_чку пошли темные слухи: говорили о каком-то совершенно мракобесном проекте, который, не мог даже рассчитывать тогда на практическое применение и имел лишь целью заявить перед кем следует об усердии и благонамеренности его автора. Говорили еще кое-что, но все это были одни темные толки: достоверно никто из студентов не знал ничего, протоколы заседаний хранились в тайне, а профессора молчали. Слухи эти пошли от Урманова, который был уже довольно близок к профессорской среде, но, по своей экспансивности, смотрел на многое глазами студентов. В последнее время слухи получили некоторое

подтверждение. Говорили об осторожных доносах на некоторых любимых профессоров. Это возбуждало пылкое негодование, но и споры... Большинство допускало достоверность слухов. Другие стояли еще за чеха[8].

Но и к этому я относился теперь равнодушно. Я только наблюдал спокойствие и уверенность, с каким чех начал свою лекцию. Он знал о смерти Урманова. Знал о возбуждении против него лично, но он начал с того самого места, на котором остановился в прошлый раз, как будто ничего не случилось. «Наука идет своим путем» – это была его любимая фраза. И только раз, в самом начале лекции, он приподнял пушистые, длинные ресницы, и из-под них блеснул осторожно-внимательный, быстро изучающий взгляд, как у спокойного крупного зверя, предвидящего опасность... Но тотчас же ресницы закрылись, взгляд настороженного зверя потух... И опять ровно лился его сочный баритон.

«...Таким образом, пузырячатое животное описываемой разновидности представляется нам простым мешком, лишенным самых элементарных органов. Поселяясь в желудке

высшего животного, оно является окруженным со всех сторон питательной средой...»

– Питательной средой, господа, – задумчиво и как-то особенно вкусно повторил чех, приподнимая кверху глаза и как бы ища на потолке лучших и еще более вкусных слов.

«...Существование, которое, с точки зрения животной экономии, должно быть признано идеальным. Ибо получать от природы возможно более при возможно меньшей затрате энергии, – не в этом ли состоит основной принцип приспособления... А приспособление, господа, – закон жизни...»

Лектор опять остановился, и его быстрый взгляд обежал аудиторию. По ней пронесся легкий шопот, выражавший возбуждение интереса. Подобные легкие экскурсии от сухого изложения в область общих идей всегда производят освежающее впечатление. «Тоже приспособляется к аудитории», – мелькнула у меня мгновенная мысль.

Затем голос Бел\_чки полился еще ровнее, точно струя масла. Совершенно незаметно, постепенными взмахами закругленных периодов, он подымался все выше, оставляя к



концу лекции частные факты и переходя к широкому обобщению. Он действительно, кажется, любил науку, много работал и теперь сам увлекся своим изложением. Глаза его уже не сходили с потолка, обороты стали еще плавнее, в голосе все чаще проглядывали эти особенные, вкусные ноты.

Со стен смотрели картины, изображающие раскрытые желудки, разрезы кишок и пузыри, «ведущие благополучные существования». Два скелета по обе стороны кафедры стояли, вытянув руки книзу, изнеможенно подогнув колени, свесив набок черепа, и, казалось, слушали со вниманием, как в изложении профессора рушились одна за другой перегородки, отделяющие традиционные «царства», и простой всасывающий пузырь занимал подобающее место среди других благополучных существований...

Аудитория давно была увлечена. Я оглянулся назад и увидел ряды внимательных лиц и глаза с расширенными зрачками. Очевидно, меж двух увлечений – научной мыслью и пылким негодованием – настроение молодежи влилось в первое русло; чех овла-

девал не только вниманием, но и сердцами аудитории.

Я чувствовал себя вне обоих увлечений. Мое настроение шло своим особенным путем, оторванным и чуждым настроениям молодой толпы товарищей. Меня почти гипнотизировал жирный баритон профессора. Он удивительно гармонировал, как мне казалось, с содержанием лекции, вернее, с теми клочками ее, которые ярко западали в мой мозг. Я смотрел на Бел\_и\_чку, не сводя глаз. Да, да, да... Именно этим убедительно сочным голосом следует говорить об «идеально благополучных» пузырях. И именно такой голос должен быть у человека, знающего эти истины... Да, это истина... Вот формула жизни ясная, простая, убедительная до очевидности. Только... Чем он так доволен? Чему он так очевидно радуется, и отчего сверкают глаза у этих молодых людей?.. Что тут может радовать? Против чего тут негодовать?..

И опять с моими глазами сделалось что-то, как утром, когда я смотрел на Тита. Фигура Бел\_и\_чки то приближалась, то удалялась, странно расплываясь и меняя очертания... До-

вольное, упитанное лицо, с «жировыми отложениями и пигментацией...» Одно только это лицо, плавающее в сочных звуках собственного голоса... Еще минута, и передо мной плавал вместо лица благополучный пузырь, ведущий «идеальное» существование... И вдруг это созерцание прервалось железным скрежетом, холодящим душу и вызывающим содрогание.

Я встал, не дождавшись конца лекции, и вышел. И почти тотчас же раздался оглушительный дружный гром аплодисментов. Он встревожил старика субинспектора, который семенил с вытянутым лицом к первой аудитории. Но, разобрав, в чем дело, он перевел дух и сказал с облегчением:

– Ну, вот, ну, вот, слава богу. Немного поаплодировать. Это все-таки лучше...

А я остановился с чувством тупого удивления; все теперь точно застигало меня врасплох... Ну, да... конечно. Это они аплодируют Бел\_и\_чке. Еще вчера я бы аплодировал так же... Или, быть может, страстно противился бы аплодисментам... Теперь я был в стороне... Я не восторгался и не негодовал. Я прислуши-

вался к тому, что происходило в моей душе...

У крыльца стояла линейка, ожидавшая трех часов и конца лекций, чтобы отправиться в Москву. Я сошел со ступенек и сел в линейку. Только отъехав на некоторое расстояние, я вдруг вспомнил, что мне совсем не надо в Москву. Тогда я соскочил на ходу. На меня посмотрели с удивлением, но мне было безразлично. Я оказался как раз у дорожки, где когда-то видел Урмановых вместе... Куда же мне идти? Да, я вышел с последней лекции...

Значит, нужно идти в столовую...

## IV

За буфетом, у входа в столовую, как всегда, стояла молоденькая немочка. Она дружелюбно улыбнулась, кивнув хорошенькою, почти еще детскою головкой, и протянула мне обещанный билет. Я ответил на поклон и даже, кажется, повторил на лице веселую улыбку, которой ежедневно обменивался с нею. Но вдруг мне пришло в голову, что цвет ее лица совершенно такой же, как у профессора Бел\_и\_чки: слишком белый и слишком розовый. Я взглянул пристально. Фрейлейн сразу как-то потупилась под моим взглядом, и все лицо ее, даже тонкие, немного оттопыренные ушки зарделись пунцовым румянцем. Из кухни несся густой запах капусты и котлет.

«Ресторанная красота, расцветающая среди питательных запахов. Тоже вполне благополучное существование...» – подумал я и с этой мыслью вошел в столовую.

Господин Шмит, отец девушки, толстый немец, с головой, суживающейся кверху, и с оттопыренными ушами, как у дочери, наливал какому-то студенту суп с таким снисходи-

тельно-величавым видом, как будто оказывал этим благодеяние на всю жизнь.

Все мы, конечно, были знакомы г-ну Шмитту. Он был истинный артист своего дела и знал студентов не только по фамилиям, но и по степени их аппетита и по их вкусам. Меня всегда забавляло странное сходство толстого и некрасивого немца с его сублильной и хорошенькой дочкой. Когда он смеялся, широкий рот раскрывался до ушей, и он становился похож на толстую лягушку... Девушка казалась мне теперь маленьким головастиком...

– Добрый день, господин Потапов... Теперь мы сам будем обедайт с большой аппетит, – сказал господин Шмит, кланяясь мне и улыбаясь самым благосклонным образом. Эту фразу он произносил под конец обеда почти ежедневно, желая, вероятно, примером своего аппетита и видом своей сытой фигуры внушить хорошую идею о доброкачественности продуктов.

– Егор! Поставь мой прибор рядом с господином Потапов.

Егор поставил тарелки, подал суп и откупоренную бутылку пива. Господин Шмит

принялся за обед с видом необыкновенного довольства. Через несколько минут в тарелке ничего не было; г-н Шмит отломил кусок булки, обтер им засаленные губы и тотчас же отправил в рот. Затем он посмотрел на меня, прищулив один глаз, улыбнулся с лукавым торжеством и отпил сразу полкружки пива. Господин Шмит щеголял своеобразной гастрономической эстетикой, внушавшей зрителю невольный аппетит.

– Что вы делаете, господин Потапов? – сказал он вдруг довольно строго. – Вы смотрите на другой человек, как другой человек кушает, а ваш суп стынет.

И, точно учитель, желающий смягчить выговор шуткой, он прибавил мягче:

– Машин надо смазывают... неправда ли, это так?..

– Да, господин Шмит, именно так: машину надо смазывать, – подтвердил я, принимаясь за ложку.

– Студент должен это делать особенно, – глубокомысленно сказал господин Шмит. – Неправда ли? Это так?

– Почему же, господин Шмит, студент осо-

бенно?

– Живот пустой – голова не работает... Голова не работает, кушать нечего...

Господин Шмит залился веселым смехом, допил залпом свою кружку и обтер пену.

Я слушал эти афоризмы и смотрел на артистические приемы г-на Шмита так, как будто все это были для меня новые откровения... Но когда я сам поднес ложку к губам, – жир, плававший на поверхности полной тарелки, вызвал во мне какое-то содрогание. Я беспомощно положил ложку.

– Ну? – спросил с беспокойным участием г-н Шмит... – Мой суп – плохой суп?..

– Нет, господин Шмит, – ответил я, – но я что-то... не могу.

– Не могу кушать? Что значит не могу?.. Это значит, вы нездоровы. Минна, господин Потапов нездоров. Дай сейчас одну рюмку водки и одну щепотку перец. Мы сейчас будем репарировать машин господин Потапова.

Я наскоро и с легким содроганием поблагодарил господина Шмита и его дочку, собиравшихся не на шутку заняться починкой моей машины собственными средствами, и вышел



из столовой.

Кучка студентов, вероятно засидевшихся в аудитории за продолжением споров о Бел\_и\_чке, спешно торопилась в столовую, все еще громко разговаривая. Я знал, что они сейчас накинутся на меня, и нарочно свернул в сторону к парку.

В парке было тихо и пусто. Деревья стояли безлистые, сонные. Кое-где из-под талого снега проглядывали гниющие листья... Это зрелище тихого умирания природы меня успокаивало. В разложении павшего листа, в грустно поникшей желтой траве, в легком прелом запахе, который стоял в воздухе, не было ничего оскорбляющего и бередящего мои теперешние ощущения. Я ходил до утомления, до темноты, вслушиваясь, как где-то каплют слезы с деревьев, как шуршат, расправляясь, отсыревшие на земле ветки, вглядываясь, как сумерки закутывают все кругом, как ночь покрывает всю эту печаль умирающей или дремлющей природы своей целомудренной темнотой.

В номера я вернулся поздно. Тит спал, не погасив лампу, нарочно для меня. В лампе,

вероятно, испортилась горелка: газ просачивался в какое-то отверстие, и от этого в тишине нашего номера слышалось тоненькое, тягучее шипение, которому Тит вторил мерным носовым свистом. Большой шкаф и полки с книгами, казалось мне, прислушиваются в каком-то насмешливо-сдержанном молчании к этому нелепому и ненужному свисту. Ноющий и жалкий писк лампочки раздражал меня гораздо менее, чем звуки, исходившие от моего приятеля. Я лег и, закрывшись, стал дремать.

Но вдруг я вскочил в ужасе. Мне отчетливо послышался скрежет машины, частые толчки, как будто на гигантском катке катали белье... Казалось, я должен опять крикнуть что-то Урманову... Поэтому я быстро подбежал к окну и распахнул его... Ночь была тихая. Все кругом спало в серой тьме, и только по железной дороге ровно катился поезд, то скрываясь за откосами, то смутно светясь клочками пара. Рокочущий шум то прерывался, то опять усиливался и наконец совершенно стих...

Когда я закрыл окно, мне стало страшно.

Кругом – только машины. Разбуженный моими шагами и стуком окна, Тит сел на постели, обвел комнату бессмысленным взглядом, опять упал на спину и стал всхрапывать... И опять раздался тонкий писк лампы... Сопение Тита казалось мне бессмысленным и мертвым... В тягучем пении лампы слышалось, наоборот, загадочное выражение...

Когда-то в детстве мир был для меня населен таинственными духами, и по ночам я дрожал от суеверного ужаса. Теперь мой ужас был глубже и холоднее. Нет ничего, ничего!.. Ночь, шкафы, темные углы и серые стены... Темные окна и ветер в трубе... Машина, называемая лампой, пищит о чем-то, точно комар над ухом, так жалобно, что мне хочется плакать. Машина, называемая Титом, всхрапывает и свистит ноздрями так бессмысленно, что ее хочется разбить... А машина, которую я называю я, лежит без движения, без мысли, чувствуя только что-то холодное, склизкое, ужасное и отвратительное, что запало в душу утром, стало мною самим, центром моих ощущений. И все, что я ни ощущаю в себе, все только *оно*, и нет во мне ничего больше...

Холодно, пусто, мертво...

Так кончился этот первый день моего нового настроения. А на утро я опять проснулся как будто успокоившимся, но все же с сознанием, что это настроение заняло еще некоторое пространство в душе.

Следующие дни мне вспоминаются в тумане, без света и теней, точно осенние сумерки...

## V

— Не пойдём ли сегодня на сходку? – спросил у меня Тит, как-то отвернувшие в сторону.

– Зачем? – спросил я.

– Да ведь ты же ходил прежде... А сегодня *вопрос* очень интересный.

Слово «вопрос» Тит произнес с какой-то неловкостью, как человек, сознающий, что в его устах он звучит натянуто и странно.

– Да, я прежде ходил, а теперь считаю лишним. А вот ты прежде мало интересовался «вопросами»... А теперь заинтересовался?

Тит посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Это был безмолвный диалог.

Тит спрашивал у меня: неужели я не понимаю, что он любит меня и пугается моего отчуждения от всего, что интересовало меня прежде; что в его упоминании о «вопросах» сказались именно эта любовь и эта боязнь, что, наконец, я отвечаю ему холодно и незаслуженно жестко?

Я понимал глубоко-трогательное значение этого взгляда, но у меня не нашлось ответа. Где-то глубоко, откуда-то издали шевелился неясный намек, но... я отвернулся.

Лицо Тита потемнело...

– Послушай, Потапов, – сказал он сердитым голосом. – С тех пор ты стал все равно, как цепная собака...

Я смотрел на его неприятно злое лицо и думал:

«Вот он какой... Тот раз он двоился в моих глазах... Теперь двоится в моем представлении. Который Тит настоящий?»

И я все смотрел на Тита любопытно и пылливо. От этого взгляда лицо Тита все более темнело, становилось суше и неприятнее. Он нахлобучил на голову картуз, надел пальто, расшвырял на столе мои книги, взял из них

сборник журнальных статей Варфоломея Зайцева[9], который недавно купил для меня же, и, сунув его подмышку, вышел, не оглядываясь, из номера.

Он имел вид человека, неожиданно для самого себя пустившегося в самое отчаянное предприятие.

В этот день в первый раз Тит ораторствовал на сходке. Ночью он пришел позже меня, лицо его было тёмно-красное, и он производил впечатление выпившего, хотя никогда не пил ни капли водки. Подойдя к моей кровати, он постоял надо мной, как будто желая рассказать о чем-то, но потом быстро отвернулся и лег на свою постель. Ночью он спал беспокойно и как-то жалобно стонал... А на следующий день в академии много говорили о неожиданном ораторском выступлении Тита и много смеялись над его цитатами из Зайцева...

В молчаливом взгляде Тита я прочитал укоризну... Я понял, что чем-то оттолкнул моего друга, но у меня не нашлось нужного движения души, чтобы заровнять образующую трещину.

Мой внутренний взгляд в эти дни был прикован к тому серому пятну, которое стало центром моих настроений. Беспреданно, даже в то время, когда, казалось, я ни о чем не думал, оно разрасталось в душе, занимая все больше места. Все жизненные явления я относил к этому основному впечатлению. Теперь я с чрезвычайной легкостью различал худшие проявления человеческой природы. В поступках и словах – пошлость и своекорыстие, в побуждениях – самое несложное, простое, животное. И я умел подчеркнуть это какой-нибудь одной, вскользь брошенной фразой, иногда одним словом, иной раз даже взглядом. Представление мое о людях становилось глубоко циничным. Женщины, встречая мой пристальный взгляд, смущались и краснели. Ничего специфически грязного я при этом не думал; я только видел то склизко-серое, которое одно определяло для меня человеческую природу.

От этого вокруг меня образовалась пустота. Товарищеская среда недоумевала. Ранее она меня знала и любила. Я горячо откликался на все ее волнения, и меня привыкли «чув-

ствовать» именно таким: волнующимся, отзывчивым на всякое дело, которое я считал справедливым. У меня были союзники и противники. И я был в союзе или в борьбе среди того маленького мирка, который учился, думал, волновался и спорил вокруг академии.

Теперь эта связь резко разорвалась. Вскоре после лекции Бел\_и\_чки меня встретил студент Крестовоздвиженский, бывший семинарист, говоривший на о, смотревший на все очень определенно – прямолинейно и просто.

– Слушайте, Потапов, – сказал он, – что вы скажете про Бел\_и\_чку? До сих пор мне не удалось еще слышать вашего мнения. Эта орация, на мой взгляд, совершенный позор...

Я посмотрел на него рассеянным взглядом и сказал:

– По-моему, Бел\_и\_чка совершенно прав.

– То есть... Как это прав? Вы считаете, что все, что говорил про него покойный Урманов, – выдумка?.. А я считаю, что все это совершенная правда... Конечно, я понимаю: все-таки нужны конкретные факты... Ну и тому подобное... Вы тоже скажете, что еще нельзя выражать порицание...



Он пытливо посмотрел на меня. Еще недавно мы были с ним если не друзьями, то все же близки...

– Да... Вот многие говорят, что надо подождать ясных доказательств... Ну, а аплодировать можно и без доказательств?.. Свидетельство умершего товарища... этот в известном смысле голос из-за могилы...

Он волновался, и его громкий, грубоватый голос дрожал.

– Между тем... разве вы не понимаете? Этой овацией вперед решен вопрос в пользу Бел\_и\_чки.

– Позвольте... – сказал я. Я хотел ответить, что прежде всего я вовсе не аплодировал Бел\_и\_чке, но Крестовоздвиженский уже не слушал. Он продолжал возбужденно говорить о том, что видит в этом эпизоде своего рода тяжбу между памятью Урманова и подлецом, который...

Вокруг нас собиралась кучка студентов, внимательно слушавших этот односторонний диалог. Здесь были противники Бел\_и\_чки, как и Крестовоздвиженский, которые считали, что я должен быть на их сторо-

не, и удивлялись, что я как будто возражаю. Были и другие, которые теперь считали меня своим неожиданным союзником, и тоже не понимали, почему это случилось?..

Я сознавал, что это общее недоразумение... Когда я говорил, что Бел\_и\_чка прав, – я разумел совсем не то, что они. Моя мысль шла непонятными для них, как бы подземными ходами, и я чувствовал, что, если я ее выскажу, – это объединит против меня и тех, и других... Я представил себе неожиданность, растерянность, недоумение. Может быть, негодование, может быть, споры, а может быть, простое пренебрежение к непонятной точке зрения... Поэтому я сказал только:

– Вы, Крестовоздвиженский, теряете слова по-пустому. Я не аплодировал Бел\_и\_чке... Но...

– Но? – переспросил Крестовоздвиженский, вглядываясь с ожиданием в мое лицо...

– Но голосов из-за могилы не бывает ни в каком смысле... И я не понимаю, о какой тяжбе вы говорите?

Широкое лицо Крестовоздвиженского внезапно покраснело, а небольшие глаза сверк-

нули гневом... «Как у быка, которого, подразнили красной суконкой», – мелькнуло у меня в голове. Я смотрел на него, и он смотрел на меня, а кругом стояло несколько товарищей, которые не могли дать себе отчета, о чем мы собственно спорим. Крестовоздвиженский, несколько озадаченный моим ответом, сначала повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и сказал с натиском и с большой выразительностью:

– Хорошо... Пусть так... Но, может быть, вы вспомните, что говорит Писарев: скептицизм, доведенный дальше известного предела, становится подлостью...

Кучка студентов замерла при этом резком оскорблении. Но меня оно не задело. Я только пожал плечами и повернулся спиной...

Трещина между мною и моими товарищами залегала все глубже. Прежде я ценил в Крестовоздвиженском его прямоту, грубую непосредственность и какое-то непосредственное чутье правды. Мне казалось, что он чаще других и скорее меня находит направление, в котором лежит истина, не умея доказать ее. Поэтому его последняя фраза, сказан-

ная с грубой и взволнованной экспрессией, залегла все-таки у меня в душе... Скептицизм?.. Разве то, что теперь во мне, скептицизм? Но я не сомневаюсь, я так *ощущаю*.

Войдя в свой номер, я взглянул на портрет Фохта... «Наше время ниспровергло разницу между вещественным и нравственным и не признает более такого деления»... Ну, вот. И они не признают такого деления... Только они этому радуются. Они не видели того «вещественного», что так неожиданно явилось мне там, на рельсах. Ну, да. Разделения нет! И вещественное, и нравственное лежало там в грязном черепке... Они этого не чувствуют, а я чувствую в себе, в них, во всей жизни...

Возрастающее отчуждение мне было больно. Я жалел о том времени, когда я мог жить с товарищами общей жизнью. Но истина, – говорил к себе, – есть истина, то есть нечто объективное, отчего можно отвернуться лишь на время. Все равно она напомнит о себе этим душевным холодом, и скрежетом. От нее не уйдешь, и отворачиваться от нее нечестно.

С этими мыслями я шел по аллее парка без цели и не давая себе отчета, куда иду. Я оч-

нулся около пруда и вдруг остановился, пораженный ясной, как мне казалось, мыслью.

Солнце садилось в синюю тучу, тронув ее края косыми лучами. Мне вспомнилось вдруг, что однажды тут вот, на скамье, сидели Урмановы и оба смотрели на закат, который тогда был горячее и ярче. Края облаков горели пурпуром и золотом, остальная масса синела той смутной синевой, в которой только угадываются, то разворачиваясь, то утопая, какие-то формы... Облака это, или леса, или странные животные?.. Я тогда унес в душе два человеческих лица, озаренные и мечтательные, как это облако. И я шел навстречу ему, с его золотыми краями и смутной глубиной... Роман Урмановых казался мне таким же золотым и таким же смутным... Что это будет? Спустится ночь, и туча, быть может, раскинется широко по всему небу, и в темноте засверкают зарницы, и гром раскатится над темными полями... Или облако унесется далее, вслед за убегающим днем, и будет так же сверкать на чужом дальнем горизонте, к нему будут смотреть другие глаза, в чьей-то душе зародятся такие же мечты... А здесь бу-

дет молчаливая, полная грусти ночь?.. Не что бы то ни было, – оно мне казалось тогда прекрасно, как эта золотые края и как эта синяя глубина...

Теперь я стоял на этой же дорожке, около памятной скамейки, пораженный внезапной мыслью... – «Как это ясно, – думал я, – как поразительно ясно!»

Ничего этого нет! Ни золота, ни отблесков, ни глубокой мечтательной синевы, порождающей обманчивые образы и грезы. Стоит приблизиться к этому облаку, войти в него, и тотчас же исчезнет вся эта мишура... Останется то, что есть на самом деле: бесчисленное множество водяных пузырьков, холодная, пронизывающая, слякотная сырость, покрывающая огромные пространства, мертвая, невыразительная, бесцветная. И от времени до времени ее прорезывает бессмысленный, страшный и такой же холодный скрежет...

Этот образ на время совершенно завладел моим воображением.

Еще недавно я так же смотрел на жизнь, как на это облако, из обманчивого далека. Жизнь сверкала для меня золотом и багрян-

цами, как декорация фальшивой пьесы. Теперь часто где-нибудь в парке, еще полном воспоминаниями, или в лиственничной аллейке, или на платформе железной дороги я переживал все это по иному, с изнанки... Валентине Григорьевне и ее американскому сожителю понадобились деньги. Старый генерал не *давал*. Он хотел выдать ее законным браком по своему выбору. Пришлось обмануть старого генерала. У «американки» сильный характер и два взгляда. Один холодный и жесткий. Другой влекущий, обещающий, манящий и трогательный. Это ее оружие в борьбе за существование. С его помощью она искала себе фиктивного мужа. Я тоже чувствовал на себе силу этого взгляда. Урманов отдался ему беззаветно... Если бы люди смотрели на все это проще... Если бы они знали, что правда только в физиологии, – все это обошлось бы много дешевле. Но люди опутали физиологию бутафорскими украшениями... И вот...

Шаг за шагом я обнажал таким образом всю жизнь, разлагая ее. После разложения я рассматривал остаток и, понятно, не находил того, что видел ранее... На посторонний

взгляд могло показаться, что я совершенно здоров. Я вел обычный образ жизни, ходил на лекции, в столовую, в лабораторию... Ездил в Москву, и даже вопрежнему мы с Титом ходили к полустанку. Меня влекло туда, и Тит следовал за мной с безотчетной тревогой. Только прежних бесед не было. Я молчал, Тит шагал также в угрюмом молчании. Я не звал Тита и порой уходил один. Зачем? Только затем, чтобы посмотреть еще раз, как колеса вагонов плотно прижимаются к рельсам. А кругом скучно свистел в проволоке ветер, порой вьюга шипела в щелях беседки, телеграфные столбы стонали от внутреннего озноба, и с откоса глядел грустный огонек сторожевой избушки... И по-прежнему оттуда выходил сторож, и его огонек, как светляк, ползал по шпалам. По-прежнему поезда встречала сторожиха, и ветер трепал одежду на ее большом животе, а за подол держались озябшие дети. Когда Тит бывал со мною, он подзывал детишек и наделял их скромными гостинцами, но я уже не мечтал о том, что мы скоро сделаем и эту семью счастливой. Что такое счастье?.. Пустое слово... Жизнь для самых якобы счаст-



ливых – только обман. Стоит ли думать о мелких деталях, когда вся картина фальшива и не стоит внимания...

Порой мне невольно вспоминался Лермонтов:

*А жизнь, как посмотришь с хо-  
лодным  
вниманьем  
вокруг,  
Такая пустая и глупая штука!..  
[10]*

Нет, это еще слишком красиво. Лермонтов не мог чувствовать всей правды, и его «холодное вниманье» было для меня слишком эффектно...

Порой я подолгу засиживался в беседке. Ноги у меня коченели, пальцы рук теряли способность сгибаться; ощущение холода пронизывало меня насквозь, смешиваясь с тем внутренним холодом, который лежал в глубине души. Зубы стучали, весь я дрожал, съеживался и казался себе таким маленьким, жалким и ничтожным, как последняя озябшая собачонка. И когда я в эти минуты вспоминал о прежних гордых мечтах, то в темной бесед-

ке я слышал свой собственный смех, такой странный и жалкий, что мне становилось жутко: казалось, кто-то другой смеется здесь надо мною...

Однажды, когда я забылся таким образом, в беседку вошел встревоженный Тит. Я понял: он боялся за меня. Он думал, что меня «тянет» к рельсам, и не решался высказать это прямо.

– Нет, брат, этого нет, – сказал я, вставая ему навстречу.

– Чего?

– Ну, ты знаешь... Конечно, – ничего удивительного не было бы. Жизнь, Титушка, «как посмотришь с холодным вниманьем...»

В это время подошел пассажирский поезд. Он на минуту остановился; темные фигуры вышли на другом конце платформы и пошли куда-то в темноту вдоль полотна. Поезд двинулся далее. Свет из окон полз по платформе полосами. Какие-то китайские тени мелькали в окнах, проносились и исчезали. Из вагонов третьего класса несся заглушённый шум, обрывки песен, гармония. За поездом осталась полоска отвратительного аммиачного запа-

ха...

– Пахнет человеком, – сказал я Титу, когда поезд исчез. И потом, положив ему руку на плечо, я сказал: – Это, брат, своего рода прообраз. Жизнь... Можно ехать в духоте и вони дальше или идти, как вон те фигуры, в темноту и холод... Или, как Урманов, – остаться на рельсах.

– Ах, Потапыч, – с тоской сказал Тит.

– Не беспокойся, Титушка. Я не делаю выбора. По-моему, все одинаково скверно. Смерть, брат, – вывод из жизни. Прежде она мне часто казалась прекрасна... Теперь... Ну, пойдём...

Тит глубоко вздохнул и опять сказал фразу, которую я уже раз слышал сквозь сон:

– Ах, Потапыч, Потапыч! Вот до чего доводит философия...

– То есть понимание, – хочешь ты сказать, – возразил я. – Это, брат, штука не произвольная... Попробуй вот, нарочно, скажи себе мысленно «дважды два» и запрети мозгу ответить «четыре». Если бы тебе грозили смертью, – все-таки не удержаться. Мозг сам скажет «четыре» с точностью машины... Пом-

нишь Галилея? У него требовали, чтобы он отрекся от истины, которая для него была очевидна. И он согласился. Это, брат, пустяки говорят историки... самоотверженное служение истине и прочее. Старый трус пошел на все унижения и торжественно отрекся. А потом у него вырвалось непроизвольным рефлексом: *e pur si muove*[11]... То есть дважды два – четыре... И, конечно, это в нем говорила не «любовь к истине», а непроизвольный рефлекс мозговой машины, то есть, в сущности, брат, простая физиология...

Я говорил больше для себя, не заботясь о том, как поймет меня слушатель. Но на этот раз Тит сказал очень решительно:

– Дважды два, Потапыч, действительно четыре... А ты городишь какую-то чепуху...

– Нет, Титушка, к сожалению, это не чепуха. Помнишь Пятницкого?

Пятницкий был наш учитель. Он был немного смешон, и жена изменила ему с офицером. Он покушался на самоубийство и потом объяснял товарищам, что стрелялся собственно не оттого, что изменила именно его Параша, а оттого, что «все, все они одинако-

ВЫ»...

– Ну, помню... Так что же? – сказал Тит.

– А то, Титушка... Нам мало знать, что около нас благополучно... Понимаешь... хочется верить, что и все хорошо, близко, далеко... в бесконечности... времени и пространства.

– Это пустяки, – сказал Тит. – Это опять философия.

– Погоди... Я постараюсь тебе объяснить. Приятно тебе было бы жить в доме, где все валится, гниет и плесневеет? Ты знаешь: тебя-то еще не придавит, но самое ощущение этого разрушения... это, брат, смертная тоска... Теперь представь себе, что кто-нибудь доказал ясно, как дважды два, что весь наш мир, как старая развалина, одряхлел, заболел, кряхтит и скоро свалится, ну, скажем, этак через двести – триста лет... Правда, тебе стало бы очень скучно?.. А между тем, что тебе за дело до того, что будет через триста лет? И все-таки руки опустились бы... Люди стали бы сходиться с ума... Понимаешь, Титушка, что я говорю... Хочется жить и умирать в хорошем, светлом и прочном доме... В хорошем мире, в хорошей вселенной, где все осмысленно, где

дышит разум и правда... Тогда, стоит достигать чего-нибудь... Я думаю: вот это справедливо. И я хочу, понимаешь ты, хочу страстно, неудержимо, чтобы то, что я считаю справедливым, *было*... чтобы где-то рядом, близко, далеко, в самой бесконечности двигалось с бесконечною силой то, что движется во мне, как слабая искорка... Правда, красота, добро, любовь... Как бы их ни называть... Ну, одним словом, то, что *светит* в душе, от чего сильнее бьется сердце... Понимаешь ты меня?..

– Ну-у... – сказал Тит, и я почувствовал в темноте, что Тит смотрит на меня с глубоким вниманием...

– Ну, этого всего... нет... все бутафория, декорация... Это облако, позолоченное солнцем... А внутри...

И я развил перед ним овладевший мной образ. И, пока мы медленно шли по темной дорожке и я говорил, – Тит шагал с молчаливым вниманием. Когда мы были уже у ворот и нам вблизи засветили окна «казенных» номеров, – Тит замедлял шага и сказал:

– Не хочется, просто, возвращаться к себе... Ах, Гаврик, – прежняя твоя философия была

гораздо приятнее...

– Что делать, Титушка... Ты же смеялся над моим «идеализмом». То было дважды два пять или много больше... А это – как раз дважды два четыре...

В первый раз с того времени я говорил с Титом откровенно. Он был этому рад, но радость была скучная. А мне стало как будто легче.

## VI

Были несколько лиц, которых я не решался еще затронуть своим циническим анализом.

Одним из них был профессор Изборский.

Однажды я вошел в музей, где он занимался со студентами по физиологии растений. Стены были увешаны таблицами. В ряде рисунков был изображен гетевский метаморфоз [12]. Изображения клеточек, разрезы стеблей, формы листьев... Все это было отчетливо, красиво и как-то чисто. Меня не оскорбляла и не наводила на обычные мысли идея живого растения... Только остатки насекомого в чашечке мухоловки издали напомнили ряд

неприятных ощущений. В общем я все-таки относился снисходительно к попыткам растений приобщиться к процессу жизни.

Профессор Изборский был очень худощав, с тонким, выразительным лицом и прекрасными, большими серыми глазами. Они постоянно лучились каким-то особенным, подвижным, перебегающим блеском. И в них рядом с мыслью светилась привлекательная, почти детская наивность.

Когда я вошел в музей профессора, Изборского окружала кучка студентов. Изборский был высок, и его глаза то и дело сверкали над головами молодежи. Рядом с ним стоял Крестовоздвиженский, и они о чем-то спорили. Студент нападал. Профессор защищался. Студенты, по крайней мере те, кто вмешивался изредка в спор, были на стороне Крестовоздвиженского. Я не сразу вслушался, что говорил Крестовоздвиженский, и стал рассматривать таблицы, в ожидании предстоявшей лекции.

– Да... профессор, – мы тоже ценим науку, – говорил Крестовоздвиженский своим грубовато-искренним голосом, – но мы не забыва-



ем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди... Вот именно, как говорит Некрасов: предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки...

Изборский сделал порывистое движение, как будто хотел возразить, но вдруг спохватился, взглянул на часы и сказал:

– Господа... Пора начинать лекцию...

Действительно, небольшая аудиторий в музее уже была полна. Изборский с внешней стороны не был хорошим лектором. Порой он заикался, подыскивал слова. Но даже в эти минуты его наивные глаза сверкали таким внутренним интересом к предмету, что внимание аудитории не ослабевало. Когда же Изборский касался предметов, ему особенно интересных, его речь становилась красивой и даже плавной. Он находил обороты и образы, которые двумя – тремя чертами связывали специальный предмет с областью широких, общих идей...

Главный предмет, которым Изборский занимался специально, была роль хлорофилла в жизни растения. И теперь на столе перед

ним стоял небольшой прибор, с несколькими трубками, расположенными по радиусам. В центре этого прибора профессор поместил спрепарированную часть листа. Видны были органы дыхания, устьица и зерна хлорофилла – этой зеленой крови растений. Этот прибор и опыты, которые Изборскому удалось произвести с его помощью, доставили ему почетную известность в научном мире... В поле зрения, доступная вооруженному взгляду, раскрылась таинственная работа солнечной энергии в зеленом зернышке хлорофилла.

В этот день Изборский был особенно в удаче. Шаг за шагом, ясно, отчетливо, осязательно он изобразил все фазы мирового процесса, в котором совершается взаимодействие животного и растительного царств... И вдруг, без эффекта, естественно и просто он перешел к предмету недавнего спора со студентами... Зернышко хлорофилла совершает великую работу... Оно в листе. Лист красуется и трепещет на воздухе, залитый потоками света, в то время, когда корни роются глубоко в темных глубинах земли. Но роль листа не украшение, не простая эстетика растения. В нем начало

всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек... И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни...

И, озаря аудиторию своими одушевленными и наивными глазами, – он закончил сравнением Крылова в басне «Листья и корни». Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но, – каковы бы ни были эти новые формы – знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации...

Когда он смолк, некоторое время в аудитории стояла глубокая тишина. И вдруг вся она задрожала от бурных рукоплесканий. Моло-

дежь восторженно приветствовала своего оппонента...

Изборский уехал в Москву, где у него была лекция в университете. В музее долго еще обсуждалась его лекция, а я уходил с нее с смутными ощущениями. «Да, – думалось мне, – это очень интересно: и лекция, и профессор... Но... что это вносит в мой спор с жизнью?.. Он начинается как раз там, где предмет Изборского останавливается... Жизнь становится противна именно там, где начинается животное...»

Но все же передо мной в тяжелые минуты вставали глаза Изборского, глубокие, умные и детски-наивные... Да, он много думал не над одними специальными вопросами. Глаза мудреца и ребенка... Но, если они могут так ясно смотреть на мир, то это оттого, что он не «увидел» того, что я увидел. Увидеть значит не только отразить в уме известный зрительный образ и найти для него название. Это значит пустить его так, как я его пустил в свою душу...

И много раз после этого я хотел подойти к Изборскому и сказать ему все то, что, мне ка-

залось, я знаю... Но, странно: каждый раз мне становилось отчего-то совестно и стыдно...

## VII

**Б**ыл и еще человек, которого я не решался затронуть своим анализом.

Это была девушка с Волги...

Я просто обходил ее в своих мыслях, но ее образ стоял в моей душе где-то в стороне, так что я чувствовал его присутствие. Я только боялся взглянуть на него ближе, хотя и знал, что когда-нибудь это придется сделать... И тогда, быть может, серое пятно расплзется и займет уже всю мою душу без остатка.

– Тебе письмо, – сказал как-то Тит. – Но не в академии. Придется сходить в отделение...

Я не пошел несколько дней. Перед вечером, когда я опять сидел в беседке платформы, пассажирский поезд, шедший из Москвы, стал замедлять ход. Опять замелькали освещенные окна, послышалось жужжание замкнутой вагонной жизни. Но когда поезд тронулся, на платформе осталась одинокая женская фигура...

Во мне что-то дрогнуло. Если это она, то ее

появление застаёт меня врасплох... На нее упала полоса света из окна последнего вагона. Я узнал ее: да, это была девушка с Волги.

По-видимому, она ждала, что ее встретят, и оглядывалась по сторонам. Поезд таял в темноте, красная звездочка в конце его становилась все меньше. Крутом было пусто. А я сидел в глубине беседки, боясь пошевелиться.

Девушка положила небольшой чемодан на платформу и быстро прошла через полотно дороги на противоположный откос, к будке сторожа. Я на мгновение потерял ее из вида, и затем ее тонкая фигура показалась в приотворенной двери.

– Здравствуй, Григорьевна, – крикнула она в сторожку. – Жива, что ли?

– Ась?.. Кто там? – отозвалась сторожиха.

– Я, это, знакомая... Не признала, что ль?

Дверь закрылась, но через минуту в ней опять появились две женские фигуры.

– И то, не признала, – говорила сторожиха приветливо. – Ишь, высока была, еще выросла будто... Что ты поздно, и одна одинешенька?.. Ведь темно.

– Ничего, Григорьевна. Я думала, человек

тут один выйдет. Писала я ему... Ну, что у вас нового? Ванюшка как? Жив?

– Чего ему делается? Хошь бы прибрал господь... А новости у нас плохие... Это человек под поезд бросился... Неприятности... Стрелочник, мол, не доглядел... А как тут доглядишь... Вот тут и еще один все шатается... На грех мастера нет... Что с ним сделаешь? Не прогонишь...

– Да, да, я знаю! Мне писали... Ну, Григорьевна, прощай... Я пойду...

– Да как же ты это, милая?.. Чемодан еще с тобой... Да темень, да жуть...

– Да, жутковато, – сказала девушка, оглядываясь, – особенно после того, что ты напомнила...

– Ах, милая... Поверишь, и мне-то все чудится... А то обожди!.. Семеныч хоть бы до ворот провел, а там у тебя в академии дружков много... Доведут и до Выселок.

– Нет, ничего, пойду! Меня никто не обидит. Я удачливая, Григорьевна, меня никогда не обижают.

– Ну, иди со Христом... И верно: за што тебя, экую обидеть...

Эти знакомые мне слова («я удачливая»), сопровождаемые знаковым смехом, я услышал уже с вершины холмика. Девушка, быстро подняв небольшой чемоданчик, бодро прошла мимо беседки и пошла по дорожке. Я прижался в темный угол.

Зачем я сделал это, – не знаю. Мне показалось, что бессознательное ожидание чего-то, которое я здесь смутно испытывал, было именно ожидание этой минуты. И еще мне казалось, что я знал, что она придет сегодня. Письмо, которое я не потрудился взять из отделения... во всякое другое время я догадался бы, что это от нее... В нем, конечно, сообщалось об ее приезде, и теперь, оглядываясь на пустой платформе, она может быть... ждала именно меня...

Но меня того, которого она знала, который угадал бы ее приезд и пошел бы ей навстречу, не было. Живая связь невысказанного взаимного понимания между нами прекратилась как прекратилась она с товарищеской средой. Правда, воспоминание о ней лежало где-то глубоко, на дне души, вместе с другими, все еще дорогими образами. Но я чувствовал, что



это только до времени, что настанет минута, когда и эти представления станут на суд моего нового настроения...

Очень может быть, что я дрожал в своем углу от неясного сознания всего этого. Может быть, кроме того, мне не хотелось появиться перед ней, такой живой и бодрой, продрогшим, съезжившимся, с самочувствием жалкой собачонки. Как бы то ни было, я дал ей уйти и только тогда пошел за нею.

Но тут мне стало досадно на себя. Отчего я сразу не подошел к ней? Зачем скрылся и теперь крадусь по следам, как вор, в темноте? Чего же мне стыдиться? Что я сделал дурного? Откуда этот стыд собственного существования? Если это боязнь показать то серое грязное пятно, которое залегло у меня в душе... то почему же я стыжусь сознания истины?..

Нет, – все равно... Я догоню ее и подойду к ней! И я быстро шел по знакомой дорожке. От движения мне стало теплее и легче. Мне казалось, что уже давно я не ходил так легко и бодро...

Но вдруг я вздрогнул от неожиданности и

остановился, как вкопанный. Я думал, что девушка ушла далеко. Оказалось, что чемодан был слишком тяжел для нее. Она поставила свою ношу в стороне от дорожки и села на чемодан отдохнуть. Таким образом я неожиданно очутился лицом к лицу с ней. Несколько секунд мы простояли молча...

– Здравствуйте, Федосья Степановна, – сказал я, протягивая ей руку...

– Ах, это вы! Голубчик, Гаврик...

Она не заметила, что я назвал ее по имени-отчеству. У нас в кружке все, даже не особенно близко знакомые, звали друг друга просто по фамилиям и даже уменьшительными именами. Ее звали уменьшительно Досей. До своего отъезда она звала меня просто Потапов... Теперь назвала Гавриком. Значит, у нее сближение продолжалось за время разлуки... Для меня оно прервалось.

– Голубчик, Гаврик, как вы меня испугали...

И, схватив мою руку обеими своими руками, она радостно затрясла ее.

– Ну, вот, я ведь знала, что вы выйдете! Ведь вы получили мое письмо?.. Да, конечно!

Я его нарочно послала заказным. Мне хотелось, чтобы встретили меня именно вы... Так много есть рассказать. Столько нового, какие интересные встречи... Как хорошо, как хорошо! Ну, а что у вас?.. Об Урманове я уже знаю... Бедный! Я его не знала. Кажется, такой красивый, брюнет?.. Но прежде всего, – что у Соколовых?

Соколовы были гражданские супруги. Он – немолодой сравнительно, очень добродушный студент, товарищ Преображенского. Она – малообразованная женщина с круглым веснушчатым лицом и с прямыми, черными, подстриженными в скобку волосами. Дося была с ними очень дружна и часто останавливалась у них.

Я замаялся и не ответил на ее вопрос. В последнее время я совсем не видал Соколовых и не знал, что делается в кружке. Девушка вдруг перестала закидывать меня торопливыми вопросами и как будто вглядывалась в темноте. Я поднял ее чемодан, и мы пошли по дорожке.

– Знаете что, – сказала она вдруг, слегка дрогнувшим голосом. – Вы какой-то стран-

ный...

Я улыбнулся и подумал, что, к счастью, она не может видеть эту кривую улыбку...

– Нет, странный, странный, – подтвердила она. – Появились бог знает откуда... ничего не говорите, не отвечаете на вопросы.

– Ну, на вопросы-то вы мне сами не даёте ответить.

– Нет, как-то... не то вы говорите, – грустно сказала девушка и потом опять оживилась: – Ну, да завтра я все узнаю. Я здесь проживу недели две.

– А после?

– После?.. Но разве вы не знаете?.. Я ведь вам писала... Разве... разве вы не получили письма?.. А я так много вам написала... И так хотелось, чтобы вы прочли это.

– Я не получил письма.

– Значит потерялось на почте?..

– Нет... Оно, вероятно, лежит в отделении... Я не знал, что это от вас.

– Не знали? И не могли догадаться, что я напишу?.. И письмо лежит столько дней?.. А я думала... Я так это писала... что думала...

Она тряхнула головой и сказала:

– Ну... поговорим после... Теперь трудно...

– Отчего же трудно? Оттого... что я странный? – спросил я с невольной горечью...

– Д-да... Оттого, что вы странный. И оттого, что письмо осталось на почте... Этот огонек в крайнем окне. Это в вашем номере?

– Да, – ответил я и прибавил: – Я все-таки очень рад, что иду с вами.

– «Все-таки»? Что это вы говорите?

– Говорю, что рад, что иду с вами... Это действительно так...

– Разве... Разве это нужно говорить?.. Да еще как-то так... особенно...

Она смолкла и шла, задумавшись... Я тоже молчал, чувствуя, что на душе у меня жутко. Сначала мне казалось, что среди этой темноты, как исключение, я возьму у минуты хоть иллюзию радостной встречи до завтрашнего дня, когда опять начнется моя «трезвая правда». Но я чувствовал, что и темнота не покрыла того, что я желал бы скрыть хоть на время. Мои кривые улыбки были не видны, но все же вот она почуяла во мне «странность». И правда: так ли бы мы встретились, то ли бы я говорил, если бы ничего не случилось?

– Ну, хорошо. Пойдемте молча, – сказал я, опять чувствуя, что этого тоже лучше бы не говорить.

Мы прошли мимо академии, потом по плотине и пошли к небольшой дачке, стоявшей особняком среди молодого ельника. В комнатке топилась печка, горела лампа, и в окно виднелись три фигуры.

– Теперь до свидания, – сказал я, останавливаясь и передавая чемодан.

– Как... вы не зайдете?

– Нет, вы уж одни...

– Что-нибудь... вышло у вас с Соколовыми?

– Кажется, ничего особенного.

Она как-то печально помолчала и потом сказала:

– Они, ведь, очень хорошие люди...

– Я знаю...

Она остановилась, хотела сказать еще что-то, но потом взяла у меня чемодан и молча протянула руку.

Я не почувствовал ее пожатия. Я задержал ее руку на одну секунду в своей, и мне казалось, что она чуть-чуть вздрогнула, как будто ожидая, чтобы ответить крепко и тепло на

мое крепкое пожатие. Но эта секунда прошла, ее рука выскользнула из моей, и она тихо сказала:

– Прощайте...

– Прощайте... Федосья Степановна...

Еще несколько мгновений, и в комнатке сквозь окно я увидел оживленное движение встречи. Соколов, сутулый, широкоплечий brunet, размашисто поднялся со стула и обнял вошедшую. Из соседней комнаты выбежала его жена и, отряхивая назад свои жидкие волосы, повисла у нее на шее. Серяков, молодой студент из кружка, к которому прежде принадлежал и я, сначала немного нерешительно подал руку, но потом лицо его расцвело улыбкой, и он тоже поцеловался с девушкой.

Я невольно остановился у палисадника, чтобы взглянуть на нее при свете. Все та же... Те же пепельные густые волосы, закрывающие часть лба и маленькие уши, та же длинная коса, тот же спокойный, теперь засиявший радостью взгляд и та же простая уверенность движений... После оживления первых минут Дося, скидая шубку с серым воротни-

ком и дорожную сумку, очевидно, предложила какой-то вопрос, сразу вызвавший особенное настроение во всей компании. «Обо мне», догадался я. Соколов присел к открытой печурке и стал угрюмо мешать угли кочергой. Его жена заговорила что-то быстро и оживленно...

Я знал, что она рассказывает. Тит передал мне толки, которые ходили обо мне среди студентов. «Американка» околдовала меня и Урманова. Урманов стал ее фиктивным мужем, но она интересовалась мной. Урманов был готов к предвиденной разлуке, но не мог вынести моего соперничества и успеха. Теперь я не могу забыть все это: и американку, и урмановскую трагедию, происшедшую отчасти по моей вине... Я разошелся с Крестовоздвиженским, когда он упомянул об Урманове, и вообще я очень изменился. Соколова, пожалуй, прибавит еще, что я «изменил прежним убеждениям» и отвернулся от товарищей...

Соколова была человек простой, прямолинейный и не особенно тактичный... Однажды она прямо заговорила со мной о том, что я поступаю плохо, считаю себя выше других и



смотрю на всех такими взглядами, что ее, например, это смущает. Каждое ее слово отзывалось во мне резко, точно кто водил ножом по стеклу.

– Надеюсь, вы не подозреваете во мне донжуанских намерений, – сказал я, не желая даже сказать дерзость. Соколова страшно обиделась.

Я с любопытством смотрел на лицо девушки при этих рассказах. Оно оставалось так же спокойно... Когда Соколова выбежала в переднюю к закипевшему самовару, Дося подошла к окну. Я вовремя отодвинулся в тень. Между окном и девушкой стоял столик и лампа, и мне была видна каждая черточка ее лица. Руками она бессознательно заплетала конец распустившейся косы и смотрела в темноту. И во всем лице, особенно в глазах, было выражение, которое запало мне глубоко в душу...

«Это она грустит обо мне, – подумал я, – о том, кто был и которого нет... Что такое – печаль?.. Какое-то изменение в мозгу?..»

Соколова внесла самовар. Все уселись к столу. Девушка заговорила о чем-то весело и с большим одушевлением.

Я чувствовал особенное волнение и опять пытался объяснить его по-своему... Где его источник? У нее толстая пепельная коса... У первой девушки, в которую я был по-детски влюблен, была тоже пепельная коса... И она так красиво рисовалась на темном платье... И у нее тоже были серые глаза... Очевидно, я не могу равнодушно видеть пепельную косу в сочетании с серыми глазами...

Я отошел от окна и пошел вдоль улицы. Навстречу, шумно разговаривая, шла кучка студентов. Один голос я узнал сразу. Это был голос Чернова, моего товарища еще по гимназии. Он был баловень богатой семьи и бил горничных по щекам плохо вычищенными сапогами. К концу гимназического курса он круто изменился, увлекся новыми течениями, преувеличивал внешний демократизм и разделял самые крайние идеи. Я не мог забыть горничных и плохо верил искренности его увлечений. Многим эта искренность внушала тоже сомнения. Но Дося верила ему, и за это Чернов платил ей горячей привязанностью.

Студенты шли быстро, и внезапное мое по-

явление их удивило.

– Это вы, Потапов? – спросил Чернов. – Откуда?

Я затруднился ответом.

– Откуда я, – все равно... А вы, конечно, к Соколовым?.. Там приехала Федосья Степановна...

– Дося? – радостно вскрикнул Чернов... – А тут уже говорили... будто она арестована. Постойте! Да откуда же она явилась? Мы сейчас из Москвы. В дилижансе ее не было.

– С железной дороги...

– Ну, что она?.. Что же вы ничего не расскажете...

– Что она, – не знаю, как и вообще не знаю, что такое тот или другой человек... А поздоровала очень. И коса выросла еще толще.

Мне показалось, что студенты переглянулись в темноте. Через минуту вся кучка ввалилась в дачку Соколовых, и я представлял себе, как они все целуются с Досей. Мне вспомнилось, что, кажется, в преданности Чернова была не одна благодарность, и с этой мыслью я пошел дальше...

И вдруг мне ясно, как в освещенной рамке,

представилось лицо девушки, глядящее в темноту с таким невольно захватывающим выражением... И рядом, с скрытой последовательностью грезы или сновидения, я увидел лучащийся взгляд Изборского... Я пожал плечами... Мне вспомнился Базаров[13].

– Проштудируй анатомию глаза, – говорил он Кирсанову... – Ты найдешь разные части органа зрения... Но где ты откроешь «божественное выражение»?..

Да, несколько более влаги придает глазам блеск или туманит их... Физическое сжатие мускулов или их дрожание под влиянием того или другого раздражения...

Но глаза все продолжали смотреть на меня из света в темноту, волнуя и напоминая о чем-то.

Я глубоко вздохнул... Я сильно устал и чувствовал боязнь перед своими мыслями. Однажды, еще ребенком, когда я безотчетно верил и молился, случилось мне проснуться с ощущением безотчетного страха такую же темною ночью, как и эта ночь. В комнате не было света, и я казался себе затерянный в беспредельной темноте, наполненной неведомыми

призраками. Чтобы отогнать страх, мне захотелось прочитать молитву, но вдруг в середине ее замешалось постороннее слово, другое... Я начал опять с первого слова, но, дойдя до прежнего места, опять невольно сбился. Так повторилось несколько раз. Сначала это была простая бессмыслица, но понемногу я с ужасом заметил, что, вместо ничего не значащих посторонних слов, теперь идут на ум наивные, детские кощунства. Я «ругал» бога так, как могут ругать сверстника или младшего брата. Тогда я понял, что это бес мешает мне молиться, что он стал между богом и мною. Мне казалось, что я никогда не дождусь конца этой беспредельной ночи...

Теперь у меня не было уже и следов детского суеверия, но страх был сильнее. Я шел в темноте, по плотине. По сторонам стояли корявые ветлы, налево темнело болото с еле мерцающими пятнами снега... Где-то сочилась струйка воды, вдалеке глухо, чуть слышно шумел поезд... И я чувствовал, что так же тихо и угрюмо просачиваются в моей голове темные мысли. И я не мог отогнать их... Я шел быстро, убегая от серого пятна, которое

носил в себе... Еще несколько минут, и я кощунственно посягну на чистые человеческие образы, хранящиеся в последних закоулках души. И если я разложу их так, как разлагал до сих пор все, то серое пятно, без формы и содержания, склизкое, с червеобразными движениями, загрязнит всю душу без остатка... И тогда будет только туманная, гадкая, бездушная мгла без формы и содержания... Как та, что стоит над этим болотом...

Меня это пугало... Сердце у меня стучало, как будто кто-то схватывал его невидимой рукой... Порой издалека глядели на меня человеческие глаза, полные грусти, одушевления, сочувствия и мысли, всего, что я считал в те минуты обманом...

Тит только что вернулся откуда-то, где опять вел горячие споры. Говорили о лекции Изборского. Одни доказывали, что преступно заниматься наукой, пока она является чужеродным растением на теле бедствующего народа... Другие отстаивали точку зрения Изборского. Тит вмешался горячо и внезапно. В его уме, конечно, при этом главное место занимала личная задача его жизни, которую он пы-

тался обобщить. Поэтому его аргументация оказалась неожиданной даже для его союзников. На него наступали, требуя более ясного изложения. Когда же он увидел, что на него нападают те, кого он считал союзниками, то он пришел в исступление и на все отвечал одной фразой:

– Врете, врете!.. Все вы врете...

Он попытался рассказать мне содержание спора, но я слушал плохо.

Он перестал рассказывать и принялся кипятить на машинке липовый цвет.

– На вот, выпей... Будет философствовать. Спи!..

Позднею ночью я вдруг проснулся... Тит, раздетый, со свечой в руке, стоял над моей постелью и внимательно смотрел на меня. И в его глазах виднелась забота и нежность, от которых мне стало беспокойно и больно...

– Ложь, все глупости, – сказал я, отворачиваясь...

Я чувствовал, что со мною происходит что-то необычное. Я давно потерял прежний молодой сон. Голова работала быстро, ворочая все те же мысли вокруг основного ощущения,

сердце принималось биться тревожно и часто... Мне все хотелось освободиться от чего-то, но это что-то навязчиво, почти стихийно овладевало мною, как пятно сырости на пропускной бумаге...

Теперь, с возвращением Доси, для меня наступили трудные дни. Я боялся себя, боялся дать волю кощунственному анализу, которым я уже не владел, а он овладевал мною. Чтобы заглушить свои мысли, я искал усталости, изнеможения, физического забытья и шатался целые дни. Заметив, что мои посещения платформы возбуждают тревогу сторожа и сторожихи, я стал ходить по окрестностям, но все-таки меня бессознательно тянуло к железной дороге с лязгающими и громыхающими поездами. Ноги ломило, все тело было разбито, но голова горела, и физическая усталость не подавляла лихорадочно работавшей мысли.



## VIII

Однажды, проходя по плотине, я услышал за собою торопливые шаги и, оглянувшись, увидел Соколову. Она куда-то быстро бежала, с сбившимся платком и растрепанными волосами. Заметив, что, кроме меня, никого нет на плотине, я остановился с некоторым недоумением.

– Пойдите, – запыхавшись, сказала она, – вот вам письмо.

Я взял из ее рук небольшую записку. Она была от Доси и состояла из нескольких слов, торопливо набросанных карандашом.

«Вы не показываетесь. Сейчас увидела вас из окна... Приходите завтра вечером на дачу Иванова. Будет интересно, и мне нужно увидеть вас. Дося».

Я прочел записку и почти машинально ответил:

– Хорошо.

Соколова, несколько отдышавшаяся и успевшая поправить платок, сделала мне реверанс, над которым в другое время я непременно бы расхохотался.

– Хорошо, – передразнила она... – Так, значит, и прикажете доложить? Хорошо?

– Так и доложите, – ответил я, как автомат.

Соколова посмотрела на меня внимательно своими маленькими глазками...

– Батюшки, – сказала она, качая головой... – Что-то уж, слишком важно. Ваш папаша полковник или генерал?.. Вы уж не думаете ли, что я бежала, как дура, из сочувствия к вам?.. Мне наплевать... Я это из-за Доси...

– Благодарю вас, Катерина Филипповна, – сказал я просто и с внезапной искренностью.

Этот неожиданный тон удивил Соколову. Она опять посмотрела на меня своими некрасивыми честными глазами и сказала в раздумье:

– Чорт вас разберет. То ли ты ломаешься, парень, то ли бесишься с жиру... Заставить бы тебя пахать землю, что ли, или бы молотить спозаранку до вечерней зари, небось, дурь-то вашу интеллигентскую живо бы вышибло... Так придешь, что ль?

– Куда?

– Да что ты это, очумел в самом-то деле?.. На дачу Иванова!..

– На дачу Иванова... приду.

– Ну, и ладно.

Она пошла по плотине, а я провожал ее глазами, пока она не повернула... И повторял про себя: на дачу Иванова... Да, да, на дачу Иванова...

Дача, куда меня звала Дося, была в лесу, направо от московского шоссе, недалеко от бывшей дачки Урмановых. Дача была большая, но в ней зимой жили только два студента, занимавшие две комнаты. Она была в стороне и представляла то удобство, что в случае надобности жильцы открывали другие комнаты, и тогда помещалось сколько угодно народу. Там часто происходили наши тайные собрания.

Я давно уже не бывал на них. Еще до катастрофы в настроении студенчества происходила значительная перемена. Вопросы о народе, о долге интеллигенции перед трудящейся массой из области теории переходили в практику. Часть студентов бросали музеи и лекции и учились у слесарей или сапожников. Часто студенческие интересы как будто ступеньками спускались, споры становились более

определенны. Казалось, молодой шум, оживление и энтузиазм вливаются в определенное русло...

Как-то, тоже еще до катастрофы, я шел по одной из московских улиц. Навстречу мне шли трое рабочих, с дорожными мешками и деревянными ящиками, какие носят с собой плотники. Из ящичков видны были ручки топоров и концы длинных рубанков. Невдалеке была церковь. Двое остановились и, сняв картузы, стали креститься, третий стоял в стороне и ждал, пока они кончат. В наружности этого третьего мне показалось что-то знакомое. Я взгляделся. Да, это не ошибка: в третьем плотнике я узнал студента политехника, которого встречал на наших собраниях. Он посмотрел мне прямо в лицо, делая вид, что совершенно не узнает меня. Затем все трое двинулись дальше, и, пока они не исчезли за углом, я провожал их удивленным и восторженным взглядом.

Итак... начинается... Великий исход молодых сил из привилегированных классов навстречу народу, навстречу новой истории... И целый рой впечатлений и мыслей поднялся в

моей голове над этим эпизодом, как рой золотых пчел в солнечном освещении... Когда, вернувшись, я рассказал о своей встрече ближайшим товарищам, это вызвало живые разговоры. Итак, N уже выбрал свою дорогу. Готов ли он? Готовы ли мы или не готовы? Что именно мы понесем народу?..

Теперь отголоски этих недавних разговоров доносились до меня, как и все, точно издалека...

Все это разные течения жизни. А для меня самая жизнь, в ее основной формуле, потеряла всякий интерес...

## IX

На дачу Иванова вела лесная тропинка, которую сплошь занесло снегом... Из-за стволов и сугробов кое-где мерцали одинокие огоньки. Несколько минут назад мне пришлось пройти мимо бывшей генеральской дачи, теперь я подходил к бывшей дачке Урмановых. От обеих на меня повеяло холодом и тупой печалью. Я подошел к палисаднику и взглянул в окно, в котором видел Урманова. Черные стекла были обведены белой рамкой снега... Я стоял, вспоминал и думал...

Прошла группа студентов, другая... Я опомнился и пошел за ними к огоньку Ивановской дачи... В щели ставень просачивался свет...

На крыльце несколько студентов топали, сбрасывая налипший снег, но говорили тихо и конспиративно. Не доходя до этого крыльца, я остановился в нерешительности и оглянулся... Идти ли? Ведь настоящая правда — там, у этого домика, занесенного снегом, к которому никто не проложил следа... Что, если мне пройти туда, войти в ту комнату, сесть к тому столу... И додумать все до конца. Все, что

подскажет мне мертвое и холодное молчание и одиночество...

Но я подошел к крыльцу Ивановской дачи в то самое время, как туда подходили три или четыре человека. Они посмотрели на меня, казалось, как-то особенно, и мы вошли вместе...

В сенях было натоптано снегом и навалены кучи платьев. Несколько студентов устроились на этих кучах в зашипели на нас, когда мы вошли. В большой гостиной рядом кто-то читал грубоватым семинарским голосом, влагая в это чтение много внимания и убедительности. Гостиная была полна: из Москвы приехали студенты университета, политехники, курсистки. Было накурено, душно, одна лампа давала мало свету...

– Здравствуйте, Потапов.

От одного из косяков отделилась высокая фигура девушки. Да, это так... Все как прежде... И даже прежнее чувство шевельнулось в душе.

– Пойдемте в комнату хозяев... Там все хорошо слышно.

Она взяла меня за руку и повела за собой

через узенький коридор в спальню хозяев. Здесь были Соколов, Соколова и Чернов. Соколов сидел на кровати, сложив руки ладонями и повернув к открытым дверям свое грубоватое серьезное лицо. Соколова кинула на Досю вопросительный и беспокойный взгляд, Чернов сидел на подоконнике, рядом с молоденьким студентом Кучиным.

– Сядем вот тут, – сказала Дося. – Вы сильно опоздали... Отчего?.. Впрочем, лучше теперь молчите.

И она стала слушать чтение. Лицо ее выразило глубокое, сосредоточенное и углубленное внимание. Так слушают в церкви. Глядя на ее внимательное лицо, на полураскрывшиеся губы, я понял, что для нее тут не простое любопытство, что это дело ее определяющей веры. В чем же эта вера? Что ее так захватывает? Я делал усилие вслушаться, но не мог: чтение было для меня только звуками, монотонными и разрозненными, и мое внимание отмечало семинарскую интонацию чтеца. Я мог еще чувствовать близость Доси, но все остальное казалось мне заглушённым и далеким.



Чтение смолкло. В комнате послышалось легкое движение; потом настала тишина. Ждали, что заговорит кто-нибудь из тех, кого привыкли слушать, но никто не начинал... Дося вопросительно смотрела на меня.

И вдруг раздался голос Тита. Он начал с какой-то цитаты из Зайцева, которая, по-видимому, не имела никакой связи с тем, что читалось. Среди слушателей водворялось недоумение.

– Что такое? К чему это он? – спрашивали приехавшие из Москвы.

– Тит! Довольно! – закричал кто-то из петровцев.

– Исчезни, Тит, – крикнул своим резким голосом Чернов.

– Постойте, дайте ему сказать... Может, и в дело, – поддержал москвич, читавший статью.

Тит заговорил опять, и опять это вызвало только недоумение. Я один понимал ход его мысли. Он, как и я, почти не слышал того, что читалось. Он стал ходить на собрания из-за меня и боролся с тем, что, по его мнению, меня губило. Поэтому он говорил о необходимости

сти науки, под которой разумел науку академическую, и когда говорил о долге, то опять разумел «свой долг», свою задачу жизни, связанную с дипломом... Неожиданно для меня он говорил очень бойко и с воодушевлением. Но он совершенно не представлял себе слушателей, и слушатели не понимали его исходных пунктов... Поэтому между ним и аудиторией не было никакого соприкосновения. Не с чем было ни соглашаться, ни спорить.

– Ну, будет, Тит, – сказал Соколов с серьезным спокойствием. – Сказал уже. Дай другим.

Но Тит чувствовал, что он не убедил никого, значит нужно, чтобы ему дали продолжать... Он апеллировал к свободе, слова. Подымался шум.

– Не надо! Не надо!

– Отзвонил... Долой с колокольни...

– Тит! Умри!.. – еще раз прорезался басок Чернова.

Тит что-то кричал, шум усиливался, слышался смех и школьнические выходки. Собрание очевидно расстраивалось. Москвичи и кое-кто из местных стали расходиться. Несколько человек из кружка прошли в ту

комнату, где мы сидели...

– Собрание сорвано, – сказал с досадой Крестовоздвиженский, входя в комнату.

– Каждый раз такая история, – сказал кто-то другой. – Этот Тит точно с цепи сорвался...

– И черт его знает, что с ним сделалось. Парень был простяк... хороший парень, а тут на тебе вот. Какая-то систематическая обструкция.

– Э, господа! Тит это не от себя, – отозвался вдруг сидевший на подоконнике рядом с Черновым Кучин.

Кучин был глуповатый и наивный, но очень искренний и пылкий юноша. Он был проникнут каким-то фанатическим благоговением ко всему, что открывалось перед его младенческим взором, и ему казалось, что все «темные силы» ополчаются в эту минуту со всех сторон на затерявшуюся в сугробах дачку, чтобы задавить зародыш нового мира...

– Что такое? Кто мешает? Что за ерунда! – слышались вопросы. Петровцы один за другим входили в небольшую комнату...

– Нет, верно. И я знаю, кто это... Это все Потапов!.. Изменник честным убеждениям...

Мое имя раздалось так неожиданно, что на мгновение в комнате все стихло. Соколов, продолжавший сидеть все в той же позе, с руками, сложенными на коленях, угрюмо и серьезно потупился; Крестовоздвиженский смотрел на Кучина с удивлением и ожиданием. Мы с ним не были особенно близки, но между нами рождалась прежде некоторая симпатия. Теперь он смотрел на меня с холодным недоумением. Лица Доси я не видел, но чувствовал, что оно побледнело и что ее глаза обращены ко мне. Но меня охватило какое-то усталое равнодушие к происходящему, как будто все это касалось не меня, а кого-то другого.

– Верно! – резко выкрикнул вдруг Чернов и порывисто вскочил с места... – Да, да. Потапов способен на все... даже... даже подглядывать в окна...

– Чернов... Не смей! – почти задыхаясь, крикнула около меня Дося. Чернов обернулся с злым лицом и хотел сказать еще что-то. Но Соколова торопливо подошла к нему и насильно отбросила его на прежнее место.

– Сид-ди, тебе говорят!.. Экой какой, пра-

во...

Чернов проворчал что-то и смолк. Дося встала против меня и глухо, страдающим голосом, сказала:

– Потапов... Господи! Да что же вы молчите? Ведь вы... ведь я вас знаю, господи! Знаю, знаю...

Я посмотрел на нее, стараясь понять, что она требует. Да, она говорит, что знает меня, и хочет, чтобы я говорил... Говорить так трудно... Но... Она требует... И, с усилием, без одушевления, глядя на нее, я заговорил:

– Чернов неправ. Он в вас влюблен и ревнует. Вы это знаете? Да? На него, как и на меня, действует пепельная коса и серые глаза... Если бы волосы у вас были прямые и остриженные, как у Катерины Филипповны... Что вы так смотрите на меня?.. Кучин дурачок. И это вы знаете. Это все знают, товарищи... Но у него есть смутное сознание правды... Потому что он искренний. Он говорил, что это я виноват в выступлениях Тита... Будто я научаю его срывать собрания?.. Это пустяки... Я не научаю... Но все-таки в словах Кучина есть правда. Тит тупица, но он умный. У него своя

линия... У вас своя... И вы друг друга не понимаете, потому что ходите в потемках. Я... Я один вижу и понимаю все...

Я вдруг поднялся с места... Мне показалось, что в мозгу у меня загорелась какая-то лампочка, которая осветила самые дальние его закоулки. Мне стало легко и больно... Боль стояла где-то сзади, а легкость заставляла меня говорить. И я говорил неторопливо, отчетливо и ясно. Говорил все, что передумал за последние дни, что проходило у меня в голове в сумерках у платформы и на темных дорожках парка, что шепнуло мне урмановское слепое окно за час перед тем. Я говорил, и мысли одни за другими выплывали из глубины мозга, входили в освещенное пространство и вспыхивали новым светом. Все, что я читал прежде, все, что узнавал с такой наивной радостью, все свои и чужие материалистические мысли о мире, о людях, о себе самом, все это проходило через освещенную полосу, и по мере того, как мысли и образы приходили, вспыхивали и уступали место другим, – я чувствовал, что из-за них подымается все яснее, выступает все ближе то серое, ужас-

но безжизненное или ужасно живое, что лежало в глубине всех моих представлений и чего я так боялся. Вот я стою здесь перед нею... Еще минута – и этот поток мыслей, несущий меня с собою, принесет меня и всех туда, к этому мертвому ужасу... Мне слышалось тихое злое клокотание, точно что переливается под землей... И вместе с этим клокотанием усиливалась боль... В голове что-то ворочалось тяжело, катилось и грохотало. И вместе с этим рос ужас. Еще немного – и страшный, холодящий мертвый скрежет прорежет воздух. Но поток несет меня, и я еще успею сказать...

В глазах у меня стало темнеть, но слова все еще шли с языка, и мысли летели вперед, вспыхивая и угасая, так что я более не поспевал за ними и остановился.

У самого моего лица мелькнуло лицо девушки с глубоко тоскующим взглядом.

– Будет, довольно... Бога ради... Все это неправда, все это не вы, не вы... Я знаю, знаю!

Все потемнело... В сознании остался еще на время глубокий, милый печальный взгляд... Рядом засветились прекрасные наив-

ные глаза Изборского. Потом лицо Тита... И все погасло среди оглушающего грохота... Я упал, потеряв сознание.



# Заключение

— Да... все это... было...  
Это были первые слова, которые я произнес после болезни.

Я очнулся ранним и свежим зимним утром. Тит сидел у стола и что-то читал. Я долго смотрел на него, на его лицо, склоненное на руки, внимательное, доброе и умное. С таким выражением Тит никогда не читал записки. Так он читал только письма сестры и матери. Все лицо его светилось тогда каким-то внутренним светом. Потом он поднял глаза на меня. В них был тот же свет.

В ту минуту мне казалось, что я весь занят этими ощущениями. За окном на ветках виднелись хлопья снега, освещенные желтыми лучами солнца. Золотисто-желтая полоса ярко била в окна и играла на чайнике, который (я знал это) только что принес Маркелыч. Маркелыча сейчас не было, но я чувствовал его недавнее присутствие и разговор с Титом.

Дверь открылась. Вошел Соколов, стараясь ступать осторожно, а за ним фельдшер. Они пошептались о чем-то с Титом. Соколов ушел,

фельдшер остался. Я смотрел на все это прищуренными глазами и, казалось, ни о чем не думал, ощущая только желтую полосу света из окна, блики на чайнике и светящееся лицо Тита.

Шагая на цыпочках, Тит подошел ко мне. На ногах у него были блестящие туфли. «Тит разорился на туфли», – мелькнуло у меня в голове, но, когда Тит склонился к изголовью, заглядывая в мои полузакрытые глаза, я сказал неожиданно для себя:

– Да... все, все это было.

– Что было? – спросил Тит...

«Он считает, что я в бреду», – догадался я по лицу Тита и пояснил:

– Урманов и... и... еще что-то... Изборский?..

– Не думай об этом.

– Я не думаю. Оно как-то... думается само. Все время... Потому что было... И *то*... тоже было?

– Что ты хочешь сказать?

Я сделал усилие, но почувствовал боль головы и слабость. Мне стало обидно, что я не могу чего-то объяснить Титу. Боль усилилась.

Я забылся.

Когда я очнулся опять, у моей постели сидела Соколова. Тит только что вошел со двора и принес с собою холодок и запах снега. Я поздравил его и опять прошептал:

– Я хотел бы знать...

Но Соколова остановила меня решительно и резко:

– Нечего тут знать... Молчите... лежи, паренек, смирно.

Впрочем, я все равно не мог бы еще объяснить, что мне нужно. В голове моей вращался хаос образов и мыслей. То, что было с Урмановым, я помнил. Но мне казалось, – что еще до моего забытья или уже во время болезни я узнал еще что-то, имеющее отношение к тому же предмету. Мне только надо вспомнить... Может, после этого не будет того, что было... Так мне одно время казалось в бреду... Нет, это было и останется навсегда... Но было еще что-то важное и нужное... Когда я старался вспомнить, в воображении почему-то вставляли глаза Изборского, лицо Доси и что-то еще на заднем фоне сознания... Когда я смотрел, как Тит читал письмо матери, мне казалось,

что и это имеет отношение к тому, что надо вспомнить. Случайные мысли, неясные впечатления бежали чередой. Голова кружилась. Я забывался...

Позднею ночью я опять проснулся. На кровати Тита спал кто-то другой, а Тит без сюртука, в очках сидел у стола и писал. «Отвечает матери», – решил я сразу. Не было ни ясного дня, ни освещенных хлопьев снега за окном. Тит сидел под абажуром тусклой лампы, но лицо его опять светилось, и опять он умиленно улыбался. После катастрофы у меня явилась какая-то особенная наивность. Все привычное, о чем никогда не думалось, подавало повод к неожиданным ощущениям и мыслям, даже процесс еды в демонстрации г-на Шмита. Это продолжалось и теперь. Я смотрел на пишущего Тита и удивлялся.

...Странно... Вот Тит получил листок бумаги, и на нем ряды черных строчек... Где-то далеко, в захолустном городке Воронежской губернии, их выводила старушка, в старомодном чепце, портрет которой висит над кроватью Тита. Она запечатала письмо и послала на почту. За тысячу верст оттуда наш верзила

почтальон доставляет его Титу... И на листке сохранилась улыбка старушки. Тит раскрывает листок, и лицо его светится ответной улыбкой.

Эта мысль показалась мне очень важной и растрогала меня до слез... Это оттого, что письмо имеет для Тита выражение... В нем отразился образ человека, которого он знает и любит...

– Я вас знаю, знаю... Кто это говорил мне и когда?.. И что это значит... И какое отношение это имеет к письму Тита?

– Тит, – позвал я тихо.

Тит подошел и наклонился надо мной.

– Повернись к лампе, чтобы были видны твои глаза.

Тит беспокойно взглянул на меня, но повернулся к свету и снял очки. Глаза у него были близорукие и теперь глядели с недоумением.

– Нет, у тебя глаза лучше, когда ты пишешь письмо матери...

Тит обрадовался.

– Ты, значит, не бредишь... А я думал, что ты опять...

– Нет, Титушка, только мне нужно вспомнить... Садись, пожалуйста... Пиши опять.

– Не вспоминай, Потапыч... Спи... Может, тебе мешает лампа?

– Нет, Титушка... Пожалуйста, пожалуйста, пиши.

Тит уселся, обмакнул перо и опять наклонился к листку. И тотчас же в лице его произошла перемена. Все черты стали другими, морщинки на лбу разгладились, а в углах глаз, наоборот, обозначились яснее. Что-то неуловимое засмеялось под белокурыми усами, близорукие глаза светились и улыбались из-за очков... «Как будто кто-то сидящий внутри Тита дернул какие-то веревочки», – подумал я... Вот теперь я опять чувствую моего прежнего Тита... Вот он – под лампой, мой прежний Тит, тупой к наукам, умный в жизни, добрый, заботливый, деятельно нежный...

...Ну, а тот Тит, что бесновался на собраниях? Он мне приснился? Нет, кажется, он был тоже... Только это был не совсем Тит... Теперь он стал самим собою?.. Что же это значит: стать самим собой? Значит, найти вот это, что внутри и что управляет выражением...

Кучин сказал, что это я сделал Тита другим, не настоящим... Или он не говорил этого?.. Впрочем, это ведь правда... Как же это вышло?..

...Началось там... на рельсах... Урманов...

Я заметался. Тит опять бросился ко мне.

– Нет, ничего, ничего, – успокоил я его, – только кружится голова, и я не могу вспомнить... Погоди... Скажи мне: когда я был болен, сюда приходила Дося?

– Да, приходила.

– И говорила мне: «я вас знаю, знаю...»

– Нет, этого, кажется, не говорила.

– Нет, говорила... Ты, верно, не помнишь...

Да? Ты мог забыть?

– Конечно, мог.

– Соколов тоже приходил?.. И сидел, сложив руки на коленях... И потом мешал в печке... И видно было, что он меня осуждает... И... это ему грустно...

– Что ты это, Потапыч?

– Нет. Я знаю, – это было. А Крестовоздвиженский?

Тит замялся.

– Он, видишь ли... уехал.

– А Изборский?

– Вот Изборский заходил два раза...

– И много говорил?.. И спорил со мною... И тоже меня осуждал...

– Да что ты фантазируешь? Он просто приходил справиться о здоровье.

– Значит... Я это видел во сне. И лицо Доси в окне... И лампа...

Я схватил его за руку и сказал:

– Ты слышишь: ведь это шумит поезд... Правда?

– Да, правда.

– Видишь: я, значит, не в бреду. И то, о чем я говорю, было... И лицо Доси в окне... И то, что говорил Изборский. Видишь ли, Урманов, – это навсегда... Этого нельзя изменить. Это бессмысленно, и нельзя узнать, зачем это... это было, и это была смерть... И я там, на рельсах, заразился смертью. А смерть – разложение, и я стал разлагать все: тебя, Бел\_и\_чку, Шмита, себя... Досю... Нет, ее не смел, и Изборского тоже... А жизнь в ощущении и в сознании, то есть в целом. И оно тоже есть... Я его сейчас видел... в тебе... Есть и любовь, и стремление к правде... Откуда они?.. Это тоже



неизвестно... Они в целом... Они также слагаются и разлагаются... Но тогда... все в мире... понимаешь, Титушка, все трепещет возможностями сознания и чувства... Разлагаясь, они растворяются в природе... Слагаясь, дают целый мир чувства и мысли... Постой, ради бога, не перебивай... Я сейчас кончу... И если наш вещественный мир – пылинка перед бесконечностью других миров, то и мир нашего сознания такая же пылинка перед возможными формами мирового сознания... Понимаешь, Титушка, какая это радость... Какая огромная радость!.. Мы живем в водовороте бесконечного чувства и мысли...

– Потапыч, голубчик... Опять эта проклятая философия!..

И опять это восклицание Тита донеслось до меня будто издалека. Мой бедный больной мозг не вынес прилива охватившей меня бурной радости, и я впал в рецидив горячки.

Но натура у меня была крепкая, и это было уже ненадолго. Дня через три я опять пришел в сознание и уже был спокоен. Тит так отчаянно махал руками всякий раз, когда я пытался заговорить с ним, что я целые часы лежал

молча, и мои мысли приняли теперь менее отвлеченное направление.

На третий день я подозревал Тита и попросил его принести из почтового отделения лежащее там письмо на мое имя. Он сходил, но, вернувшись, сказал, что письма ему не выдали, так как нужна доверенность. Еще через день после короткого разговора, не имевшего никакого отношения к «философии», я сказал:

– Ну, Тит, давай письмо.

– Какое письмо? Я же говорил тебе...

– Не ври, Тит. Письмо у тебя в столе...

Тит, конечно, почесался и отдал письмо. Я знал: оно было с Волги.

Содержание его было радостно и наивно. Девушка делилась своими впечатлениями. Это было время, когда в Саратовской губернии расселилась по большим селам и глухим деревням группа интеллигентной молодежи в качестве учителей, писарей, кузнецов... Были сочувствующие из земства и даже священники. Девушка встретила с некоторыми членами кружка в Саратове, и ей казалось, что на Волге зарождается новая жизнь...

Несколько небольших грамматических

ошибок наивно глядели с этих строк, написанных твердым, хотя не вполне установившимся почерком. Но под конец письмо, сохраняя свою наивность, становилось выразительным и поэтичным. Девушка писала его ночью у раскрытого окна каюты, и, когда она отрывала глаза от листка, перед ней в светлом тумане проплывали волжские горы и буграки, на которые молодежь нашего поколения смотрела сквозь такую же мечтательно романтическую дымку... Там, за этими горами, раскинулась неведомая нам жизнь огромного загадочного народа... О чем вздыхает раскольник в глухом скиту?.. Из-за чего волнуются по деревням крестьяне?.. К какой старейшей воле стремятся казаки на бывшем Яике?.. И нам казалось, что эти стремленья совпадают с нашими мечтами о свободе...

Дочитав до конца, я глубоко задумался. Письмо лежало так долго... Что, если оно было вскрыто?.. И что это? Новое облако с раззолоченными краями? Далекая обманчивая иллюзия, которая вблизи раскинется холодной мглой или грозовой тучей?..

Все равно! Это – жизнь. Из облаков идут до-

жди, которые поят землю, а грозы очищают  
воздух...

Я вскочил на ноги, испугав Тита...

Жить, жить...

*1888–1914*

# Примечания

Рассказ написан в 1888 году, впервые напечатан, с подзаголовком «Рассказ о двух настроениях», в том же году в одиннадцатой и двенадцатой книжках журнала «Русская мысль». Однако своей работой писатель остался неудовлетворен. В письме к И. И. Юхневу в 1893 году Короленко писал: «Рассказом «С двух сторон» я сильно недоволен, так как по некоторым причинам писал его наскоро и не «доносил». Он нуждается в полной переработке». Переработку рассказа Короленко осуществил в 1914 году, подготавливая его для полного собрания своих сочинений в изд. А. Ф. Маркса. В рассказе отражены студенческие годы писателя, когда он учился в Петровской сельскохозяйственной академии. В лице профессора ботаники Изборского Короленко изобразил К. А. Тимирязева, бывшего тогда профессором Петровской академии. Тимирязев, очевидно, в этом образе узнал себя и, даря Короленко свою книгу «Жизнь растений», сделал на ней надпись: «Дорогому, глубокоуважаемому Владимиру Галактионовичу Ко-

роленко от сердечно признательного «Избор-  
ского».

# Примечания

*Бокль Генри Томас* (1821–1862) – английский либерально-буржуазный историк и социолог-позитивист, автор известной книги «История цивилизации в Англии», переведенной на русский язык.

[^^^]



*Фохт (Фогт) Карл* (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель, один из представителей вульгарного материализма. В 1844–1846 годах издал свои «Физиологические письма», в которых высказал пресловутое положение, что «мысли находятся в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам». В 1852 году вышли также его «Зоологические письма» (а не «очерки», как пишет Короленко), переведенные на русский язык.

[^^^]

# 3

Против глупости даже боги напрасно борются. *(Ред.)*.

[^^^]

## 4

*Геккель Эрнст* (1834–1919) – немецкий естествоиспытатель.

[^^^]

*...просиживал с книгой у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела.* – Анархист Нечаев, сторонник заговорщической тактики в борьбе против царизма, организовал в 1869 году в Москве, главным образом среди студентов Петровской сельскохозяйственной академии, революционные кружки. Встретив со стороны студента Иванова оппозицию своим авантюристическим методам борьбы, убил его, а затем бежал в Швейцарию. В 1872 году как уголовный преступник был выдан швейцарскими властями, царскому правительству. Умер в Петропавловской крепости, в одиночном заключении.

[^^^]

## 6

*Конт Огюст* (1798–1857) – французский философ. Развивая идеи позитивизма, вел борьбу против материалистической философии. Выступая против теории классовой борьбы, выдвигал идею морально-религиозного усовершенствования человечества, идею «гармонии» и сотрудничества классов.

[^^^]

# 7

*Мурья* – тесное и темное жильё.

[^^^]

## 8

Так как и место действия, и время довольно определены, то считаю нужным сделать категорическую оговорку, что личность, о которой идет речь, *совершенно вымышленная*. Чех-профессора никогда, сколько мне известно, в академии не было.

[^^^]

*Зайцев Варфоломей Александрович*  
(1842–1882) – известный в 60-х годах критик, и публицист. Сторонник вульгарного материализма, Зайцев не придавал значения классовой борьбе и полагал, что ход исторического процесса определяется биологическими законами. Распространение в массах естественных наук он считал вернейшим средством улучшения общественных отношений и положения рабочего класса. Зайцев отрицал искусство, которое, по его мнению, вредно, так как отвлекает людей от производительного труда.

[^^^]



*«И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая штука!»* – заключительные строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скушно и грустно».

[^^^]

А все-таки вертится... *(Ред.)*.

[^^^]

*Гетевский метаморфоз.* – В трактате «Метаморфоза растений» (1790) Гете, прослеживая сходство в устройстве различных органов растений, делает вывод, что одни из этих органов являются результатом видоизменения других.

[^^^]

*Базаров* – герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

[^^^]